



ТАРАС
ШЕВЧЕНКО

ДЕТГИЗ 1946



Тарас Григорьевич Шевченко.
Автопортрет, 1845.

(Гравюра 1860 года.)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

Редакция, вступительная статья
и примечания Лидии Чуковской

Издание иллюстрировано снимками с рисунков,
акварелей, картин и офортов Т. Шевченко

Профессиональный Союз
РСХМ СССР

Заводской комитет

Завода № ~~17~~

1944 г.

4/3

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Большинство переводов, входящих в эту книгу, перепечатано с незначительными исправлениями из сборника произведений Шевченко, выпущенного Детгиздатом в 1939 году. Некоторые заимствованы из сборников, выпущенных Государственным издательством художественной литературы и издательством «Советский писатель».

Произведения, переведенные заново специально для настоящего издания, отмечены звездочкой в перечне стихотворений в конце книги.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

1

Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года на Украине, на Киевщине, в бывшем Звенигородском уезде, в селе Моринцах. Однако родным своим селом он постоянно называет соседнее село, Кирилівку: туда переехала семья его отца, когда Тарас был совсем еще мал, и там прошло все его детство. С младенчества полюбил он природу родного края (и всегда с умилением вспоминал «темные сады» своего детства и «тихий, едва журчащий ручеек, уставленный вербами и калиною, окутанный широколиственными темнозелеными лопухами». Совсем маленьким мальчиком отправился он однажды в привольную степь на поиски тех железных столбов, что подпирают небо...

Но среди милой природы шла на селе жестокая, тяжелая жизнь. Отец и мать Тараса, сам он, его сестры и братья были людьми крепостными, «крещеною собственностью» помещика Энгельгардта. «Вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, — вспоминал Тарас, — с потемневшею соломенною крышею и темным дымарем». Когда Тарасу минуло девять лет, мать его умерла от непосильной работы. Отец женился вторично. Мачеха у Тараса была злая, сварливая. Она невзлюби-

ла мужниных детей и всячески их притесняла. Вскоре умер Тарасов отец. Дети остались сиротами.

Отец не вынес тяжкой доли
И умер, как и мать, в неволе,
На барщине. И меж людьми,
Как мышенята в чистом поле,
Мы разбрелись...

Кем только не был Тарас за годы своего сиротского, батрацкого, голодного отрочества! Был он и «хлопцем-погонычем» у попа — возил продавать на базар поповские груши, был и пастухом, был и «школяром-попихачем» у приходского дьячка, грубого, пьяного, тяжелого на руку. Он таскал воду, мыл полы, бегал в шинок за водкой. Но сколько ни томили его тяжелой работой, он уже тогда, в детстве, умел отстаивать то, что любил. В те годы он во что бы то ни стало хотел учиться и больше всего — учиться рисовать. Его мечтой было сделаться «аби яким» — хоть каким-нибудь — «маляром», то есть живописцем, художником. Не было у него бумаги — он брал мел, не было мела — брал уголь и украдкой рисовал на воротах и на белых стенах сараев и хат. Что он рисовал? Верно, круторогих волов или мельницы, или старые вербы, или длинноусых чумаков, шагающих позади возов с солью.

Приходский дьячок нещадно лупил его. В один прекрасный день, когда дьячок, мертвецки пьяный, завалился под образа отсыпаться, Тарас намочил в воде березовый веник, пребольно высек дьячка, да и махнул бродить по селам в поисках учителя. Не везло ему с учителями. Один «маляр» — сельский иконописец — учить не учил, а заставлял воду таскать, другой принял было Тараса в ученье, а потом взял его за руку, взгляделся, как старая гадалка, в линии у него на ладони и погнал прочь из хаты:

— Ступай себе с богом, хлопче! По руке твоей вижу — не только маляра, но и сапожника и бондаря из тебя не выйдет!

А третий согласился учить его, но только тогда, когда Тарас представит «дозволение» от пана.

Но пан распорядился Тарасовой судьбой по-своему. Сначала он отправил его на кухню, а потом произвел в «комнатные козачки».

Пан «вменил мне в обязанность, — через много лет вспоминал Шевченко в своей автобиографии, — только молчание и неподвижность в углу передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него под носом стакан воды».

Однако и в панских покоях, под пристальным надзором самого пана, Тарас все-таки умудрялся рисовать.

«Странствуя со своим барином с одного постоялого двора на другой, — вспоминает Шевченко в той же автобиографии, — я пользовался всяким удобным случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе таким образом драгоценную коллекцию... Впрочем, не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое желание срисовать с них, как только возможно верные, копии».

Однажды в Вильно, когда пан и пани уехали на бал, Тарас выбрал из своей коллекции казака Платова и принялся копировать картинку. Застав Тараса за рисованием, пан приказал выпороть его на конюшне.

Но не таков был Тарас, чтобы битие и попреки могли заставить его отказаться от мечты о живописи, как впоследствии, когда он стал поэтом, ни тюрьма, ни солдатчина не могли принудить его бросить писать стихи.

В 1831 году Энгельгардт переехал в Петербург, захватив



Григорий Иванович Шевченко,
отец поэта.

с собою Тараса, и Тарас так неотступно, так настойчиво умолял своего властелина определить его куда-нибудь учиться живописи, что Энгельгардт законтрактовал наконец мальчика в ученье к цеховому «живописных дел мастеру». «Живописных дел мастер» Ширяев, по свидетельству Шевченко, пил и дрался не хуже приходского дьячка, и житье у него было Тарасу плохое. Но, в отличие от дьячка, он мог кое-чему научить своих помощников, «замарашек в тиковых халатах»: артель Ширяева умело расписывала плафоны и стены, и ей был поручен даже такой ответственный заказ, как роспись Большого театра. Однако не у Ширяева началось настоящее ученье Тараса.

Однажды, белою ночью, срисовывая в Летнем саду статую Сатурна, Тарас познакомился с художником Иваном Максимовичем Сошенко, и эта случайная встреча дала толчок к счастливой перемене в его жизни.

Сошенко понял, что курносому юноше в тиковом, запачканном краской халате, так прилежно срисовывающему статуи Летнего сада, следует серьезно учиться. Но где? Двери Императорской Академии Художеств для крепостных были заперты наглухо.

Сам по себе Иван Максимович был человек нечиновный, художник безвестный, но среди его друзей было немало знаменитых и могущественных: художник Венецианов, конференц-секретарь Академии Художеств Григорович и сам прославленный Брюллов. К ним-то и обратился Сошенко за советом и помощью.

Эти благородные люди ревностно взялись за дело. В их хлопотах принял участие поэт Василий Андреевич Жуковский, который всегда с большим умением использовал свои высокие придворные связи для заступничества за писателей: он был близок к царской семье и в свое время хлопотал о Пушкине, Баратынском, Кольцове... С какой счастливой признательностью посвятил Шевченко свои первые поэмы Григоровичу и Жуковскому, с какой восторженной нежностью вспоминал о своих избавителях в письмах, дневнике и автобиографических повестях! «Человеколюбец-художник» — именовал он Венецианова; «великий маэстро» — писал он о Брюллове: «его любви достаточно для совершенного счастья».

(Энгельгардт заупрямился было, но после настойчивых



Хата родных Шевченко в Кирилловке.

уговоров со стороны Венецианова и Брюллова согласился наконец отпустить Тараса на волю за 2 500 рублей ассигнациями. Чтобы раздобыть эти деньги, Брюллов решил написать портрет Жуковского и разыграть его в лотерею. Он отложил все другие работы, и через четыре дня портрет был окончен. Василий Андреевич устроил лотерею во дворце. Деньги были внесены помещику.

22 апреля 1838 года «отпускная» была совершена по всей форме, и Тарас Шевченко стал человеком «свободного звания».

2

«Я так счастлив, так безмерно счастлив, что мне кажется, я задохнусь от этой полноты счастья, задохнусь и умру».

«Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века! Самому теперь не верится, а действительно так было. Я — из грязного чердака, я — ничтожный замарашка — на крыльях перелетел в волшебные залы Академии Художеств!»

Так вспоминал впоследствии в автобиографической повести и в дневнике Тарас Шевченко об апреле 1838 года. Этот год можно считать годом его второго рождения. Не только потому, что мечта его жизни исполнилась: он стал учиться живописи, да еще под руководством знаменитого мастера. Не только потому, что впервые он

получил доступ к книгам и жадно накинулся на историю Украины, историю древней Греции, на Вальтер-Скотта, Шекспира и Гёте. Повидимому, именно в 1838 году совершилось еще одно событие, решающее: Тарас Шевченко начал писать стихи.

«Перед... дивными произведениями (Брюллова) я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца-кобзаря и своих кровожадных гайдамаков, — писал он через много лет в дневнике. — В тени его изящно роскошной мастерской... передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной, меланхолической красоте своей... И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной, чарующей прелести».

В начале своей поэтической работы Шевченко утверждал, завоевывал право воспевать «эту родную, чарующую прелесть» и оплакивать эту попорченную «непорочную красоту». Не о балах, не об изнеженных красавицах, о которых твердите нам вы, — нет, я буду рассказывать о деревенском батраке, и о деревенской девушке, и о рыцарях народа — запорожцах, и о вольном Днепре, и о нашей степи, и о наших курганах!

Появление поэм и стихов Шевченко (в 1840 году вышел сборник под названием «Кобзарь») было настоящим событием. Стихи Шевченко сразу проложили себе дорогу в самую гущу народа: их с первого дня читали, заучивали наизусть, переписывали в украинских городах и селах. Знаменательны были не только темы, поднятые новым поэтом, — всей своей художественной силой стихи Шевченко утверждали красоту и выразительность украинского народного слова, опровергали лживую мысль, будто украинский язык не существует, а если и существует, то он грубый, «мужицкий», для литературы не годный. Самые тонкие и сложные впечатления, чувства и мысли воспроизводил Шевченко этим «грубым» языком.

Поэма «Гамалия» начинается песней запорожских казаков, томящихся в турецкой неволе:

«Ой, все нет и нет ни волны, ни ветра
С нашей Украины!
Скоро ль соберутся да пойдут на турка, —
Не знаем мы на чужбине».



Василий Андреевич Жуковский. Портрет работы К. Брюллова.

Этот портрет В. А. Жуковского был написан К. Брюлловым и разыгран в лотерию, для того чтобы выкупить из крепостной неволи Т. Г. Шевченко.

В этой пленительно-заунывной песне ни словом не упомянут тяжкий труд невольников, но тяжесть их кровавого труда без слов доносится сквозь ее ритм: слышно, что они гребут или таскают камни... Так магически еще в молодости владел Шевченко своим песенным стихом.

С 1838 по 1842 год Шевченко написал несколько стихотворений и песен, несколько баллад и две поэмы — «Катерина» и «Гайдамаки». Самым значительным произведением этого времени явилась поэма «Гайдамаки».

Под пером дворянских историков восстание украинских крестьян против польских панов — «гайдамачина», «колиивщина», — разразившееся на Правобережной Украине в 1768 году, выглядело бессмысленным бунтом, а вожди его — кровожадными разбойниками. Тарас Шевченко первый взглянул на «колиивщину» глазами восставших крестьян, а не панов, перепуганных насмерть. Недаром родной дед Тараса был современником «колиивщины» и немало порассказал о ней внуку. Герои поэмы Шевченко — самоотверженные борцы, мстители за оскорбленный народ.

Юношеские стихи Шевченко порою еще наивны по замыслу, они однообразнее и беднее, чем те стихотворения и поэмы, которые он создал впоследствии. Но основной звук его творчества явственно слышен с первого же произнесенного им стиха. Как ворота в мир его поэзии, стоят две ранние поэмы: «Катерина» и «Гайдамаки». В поэме «Катерина» он рассказал историю обманутой девушки и потом всю свою жизнь не мог оторваться от этого образа — и в «Батрачке», и в «Слепой», и в «Лилее», и в «Ведьме», и во многих стихах слова и снова рассказывал эту страшную и трогательную повесть. «Гайдамаки» — грандиозное воплощение темы народных восстаний, темы, к которой он возвращался всю жизнь. А от песен украинских, которыми он начал свой поэтический путь, он не отходил никогда. Они с первой и до последней минуты остались основной стихией его творчества.

Освобожденный из крепостной неволи, Шевченко поселился поблизости от Академии Художеств, на Васильевском острове. Он прилежно посещал Академию, а в свободное время жадно читал, слушал лекции, занимался французским языком.

Но, несмотря на всю привлекательность вольной петербургской жизни, на успехи в Академии, на ласку Брюллова, несмотря на обилие заказчиков, которым льстило, что портреты, которые писал с них молодой художник, не отличить было от кисти «самого Брюллова», Шевченко неотступно стремился на родину. В 1843 году он отправился на Украину. Бедствия народа заново уязвили его сердце. «Всюду ездил и всюду плакал, — писал он в 1844 году одному из своих друзей, — сплюндровали (разорили) нашу Украину». Но, конечно, он не только плакал: ведь с юности он был труженик и борец. Годы его поездок по Украине (1843—1847), в течение которых он побывал и на левом и на правом берегу Днепра, посетил Хортицу (прежнее местопребывание Запорожской Сечи) и села своего детства, — эти годы были годами напряженной революционной деятельности, полного расцвета его литературного гения и перелома в его художнической работе!

Шевченко всю жизнь чтит Брюллова, учился у него и подражал ему. И все-таки весь его путь как художника был путем медленного ухода от брюлловской манеры.

В своих поисках новых путей он был не одинок: в те же годы, в той же Петербургской Академии, тоже учась у Брюллова и борясь с ним, рос и развивался младший сверстник Тараса — Федотов, замечательный русский художник, создатель русской школы художников-реалистов. «Я учусь жизнью», говорил Федотов о себе; то же мог сказать о себе и Тарас...

Брюллов, их общий наставник, был в те времена на вершине славы. Его знаменитая картина «Последний день Помпеи», после победоносного шествия по Европе, была выставлена в Академии Художеств. Пушкин хвалил картину Брюллова; Гоголь приветствовал в нем «свет-

лое воскресение живописи». Он сделался кумиром молодых художников.

Брюллов явился разрушителем омертвелого академического канона, борцом за изучение природы и истории и этими своими чертами привлек и покориł современников. Брюллов учил, что истинный художник ни одной линии не должен сметь провести без натуры.

Однако наряду с этими требованиями он выдвигал требование облагораживать человека и природу. Natura натурой, но она должна быть «облагорожена», согласно законам античной или итальянской красоты; история историей, но лучше всегда брать сюжеты из истории божественной: из библии.

У этого-то виртуозного мастера, у которого природа роскошна, женщины блистательны, развалины живописны и даже сама смерть нарядна и празднична, и учился вчерашний крепостной Тарас Шевченко. Но Шевченко знал иную «натуру». Он родился крепостным, он вырос в закрепощенном селе.

Когда б вы знали, господа,
Где плачут горе и нужда,
То вы б идиллий не писали
И гимнов богу не слагали,
Смеясь над нами без стыда...

написал он впоследствии о тех, кто в стихах «облагораживал натуру».

Не при эффектном блеске молнии, не под мраморными колоннами умерли его отец и мать... Вернувшись на родину, Тарас Григорьевич принялся объезжать с рисовальным альбомом города и села, торопясь запечатлеть «остатки нашей Украины», как писал он одному из друзей. «Народный быт», неприкрашенный, подлинный, занимал воображение художника. Едва только из академических зал, из мастерской Брюллова вышел он в украинские степи — пастухи, нищие, бандуристы, чумаки, танцующие девушки, степи, мосточки, курганы, во́лы, тополя и дубы хлынули на шершавые страницы его рисовальных альбомов. Его картина «Судня рада» — это уже совсем не академическое произведение. Возле беле́нькой хаты собрались «дядьки», чтобы рассудить соседей. И хата и крестьяне — простые, обыденные,

«необлагороженные». Шевченко пытается снять академические очки, увидеть и воплотить жизнь, какая она есть.

В годы поездок по Украине Шевченко написал множество стихотворений и несколько поэм: «Батрачка», «Невольник», «Еретик», «Кавказ», «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим». Уже не какую-то неопределенную «волю», кем-то «загубленную», оплакивает Шевченко, уже не умиляется он над каждым казацким жупаном, как во многих юношеских своих стихах, идеализирующих старину и казачество. Нет, жадно вглядываясь в прошедшие и грядущие судьбы своего народа, уже поднялся и выпрямился во весь рост поэт крестьянской революции, знающий, кого он ненавидит и кого защищает. Он защищает миллионы закрепощенных крестьян от насилия помещиков — украинских, русских, польских, — он зовет крепостных рабов к восстанию против самодержавного крепостнического государства.

В поэме «Кавказ» он поднял голос на защиту всех народов, угнетаемых царизмом. «Сон» (поэма, написанная в 1844 году в Петербурге) — это сатирическое изображение всей системы помещичьего государства, всего николаевского режима в целом. В этой поэме Шевченко создает обобщение, но при той отвлеченности, которая всегда присуща обобщению, картина остается вполне конкретной:

А в этом раю, что под солнцем сияет,
Сермягу в заплатках с калеки снимают,
Со шкурой снимают — одеть и обувь
Княжат малолетних. А вон распинают
Вдову за оброки; а сына берут, —
Любимого сына, единого сына, —
В солдаты отраду ее отдают...
Всё мало им! Вон умирает под тыном
Опухший, голодный ребенок... А мать
Угнали пшеницу на барщине жать.

В послании «И мертвым, и живым...» он жестоко издевается над убогим провинциальным национализмом украинского панства: украинские крепостники чванятся своей просвещенностью, своим народолюбием и знанием родной истории, а сами знают родную историю с чужих слов, и единственное их умение — умение грабить народ.

Вы кричите всем,
Что бог вас создал не за тем,
Чтоб вы неправде поклонялись,
А гнетесь так же, как сгибались,
И снова с тех, кто слеп и нем,
Дерете с братьев-гречкосеев
Три шкуры...

или:

И все-то видел, все-то знаю,
И нет ни ада и ни рая,
И бога нет, есть только я
Да куцый немец с постной рожей,
И больше никого...

«Добро же!

А кто ж ты сам?» —

«Пускай немец

Скажет, мы не знаем».

Поэмы «Батрачка», «Сова» и «Невольник» написаны Шевченко в обычной манере поэтического повествования: каждая из них — это рассказ в стихах, иногда перебиваемый автором, но все-таки последовательно повествующий о происходящих событиях. Поэмой же «Сон», поэмой «Кавказ», стихотворением «И мертвым, и живым...» Шевченко создает новый тип поэтического произведения. В этих стихотворениях и поэмах или совсем нет сюжета, или сюжет служит лишь толчком, лишь поводом для потока авторской хулы и хвалы; в этих стихах авторские «отступления» весят больше, чем самый рассказ; стих движется не развитием повествования, но бурной сменой интонаций. От умиления к гневу, от гнева к хвале, от издевательства к патетическим призывам переходит Шевченко в тех гневных монологах, которые мы называем его поэмами. Голос прокурора сменяется голосом сатирика, голос псалмопевца — голосом борца.

..В середине сороковых годов гений Тараса Шевченко был уже живой угрозой для помещичьего, самодержавного, чиновничьего мира. Этот мир неизбежно должен был протянуть к нему свою руку.

В 1825 году Николай расправился с декабристами. Картечью усмирлял он восстания крестьян. Николаевский режим убил Пушкина, Лермонтова, Полежаева. Очередь была за великим революционным поэтом Тарасом Шевченко.

С передовыми, революционными идеями Шевченко познакомился еще в юности. Еще в юности он глубоко оценил декабристов. В своих поездках по украинским селам он всюду вел смелые, вольные речи. В Киеве Шевченко сошелся с кружком молодых украинских ученых, мечтавших о создании всеславянской федерации народов и об освобождении крестьян. И та и другая мечта были задушевыми мечтами Шевченко. Но члены кружка отвергали восстание, ожидая счастья народа от просвещения его, а Шевченко упорно звал их на революционный путь.

5 апреля 1847 года Шевченко был арестован.

4

Он возвращался из Седнева в Киев. Паром медленно пересекал Днепр. Огромный солнечный город плыл ему навстречу: колокольни, холмы, площади, спуски, бульвары...

Чуть только Шевченко ступил на берег, жандармы схватили его. При обыске у него отобрали стихи и альбомы с рисунками. Его отправили в Петербург и заключили в тюрьму. Он знал: за революционные стихи пощады не будет.

С изумительным мужеством вел он себя на допросах.

— Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора? — спрашивали его.

— Возвратясь в Малороссию, — прямо отвечал Шевченко, — я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства.

В тюрьме Шевченко продолжает писать. Пишет он песни, пишет и лирические стихи. Именно в это время определяется и крепнет стиль тех кратких лирических стихотворений, которые с каждым годом начинают занимать все больше места в его творчестве. Стиль этот сродни стилю его поэм. Так же как и в поэмах, песенный строй стиха или величавый пушкинский ямб, великолепно усвоенный им, передается в лирических стихотворениях разговорной, речевой интонацией; так же как

и в поэмах, рядом с эпитетами, совершенно привычными, заимствованными им из фольклора («тяжки е, кровавые слезы» или «далекая сторона»), стоят неожиданные, невозможные ни в каком фольклоре:

Сердечным чаем напоили...

или:

...И молодое наше горе,
И молодой, греховный рай...

и придают всему отрывку необычный, резко индивидуальный оттенок. Но своеобразие лирических стихов Шевченко и отличие их от большинства поэм — в интимности, задушевности тона. Когда читаешь стихотворение «Костомарову», написанное в тюрьме, или стихи «И снова мне не принесла...», «Мне золотую, дорогую...», «Тогда мне лет тринадцать было...», написанные через много лет в ссылке, или знаменитую «Долю» 1858 года, — кажется, будто заглянул в чужой дневник или нечаянно прочел чье-то письмо, обращенное к близкому другу. Однако по какому бы частному поводу ни была сделана эта беглая дневниковая запись, кажущаяся на первый взгляд непринудливой и случайной, — увидел ли Шевченко старуху, через силу бредущую по тюремному двору, или в ссылке долгожданная почта обманула его ожидания, или он заметил оборванного мальчика, отдыхающего под забором, — частный повод, выбранный как бы случайно, с неизбежностью приводит поэта к философскому или социальному обобщению. В этом смысле стихи его — родные братья поэм.

Он одинёшенек под тыном
Сидит себе в старье холстинном...

(пишет Шевченко о мальчике, случайно попавшемся ему на глаза:

И мнится мне, что это я,
Что это молодость моя!

.....
Нигде не сыщет он привета
И, побродив по белу свету,
Пойдет батрачить... Ну, а тут, —
Чтоб он не плакал, не грустил,
Чтоб где-нибудь пристроен был, —
Его в солдаты отдадут.



Автопортрет (1847 год).

Это уже не судьба случайного мальчика, а судьба самого Тараса. И это уже не судьба Тараса, а судьба самого народа. «Он вышел из народа, — писал о Шевченко Добролюбов, — жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан». В самом деле, ведь чуть ли не весь свой век он был крепостным, или арестантом, или солдатом. «Я по плоти и духу сын и родной брат нашего несчастного народа», писал о себе он сам. Каждое его стихотворение подтверждает эти слова. Стоит Шевченко задуматься о себе самом, чтобы сразу задуматься о судьбе своей родины.

Мне, право, все равно — я буду
На Украине жить иль нет,
Меня вспомнят иль забудут
В снегах, в далекой стороне, —
До этого нет дела мне.

...И лишь одно,
Одно лишь мне не все равно:
Что Украину злые люди,
Лукавым убаюкав сном,
Ограбят и в огне разбудят...
Ох, это мне не все равно!

Две темы — личная и общественная — нерасторжимы у него, неразлучимы. Когда он писал о своей жестокой судьбе, он писал о тяжелой судьбе закрепощенного народа Украины, и когда писал о кабале, в которой томился народ, — писал о самом себе. Подобного слияния, подобной лирической публицистики не знала поэзия до Шевченко: в этом отношении он прямой предшественник Маяковского.

Тут же, в тюрьме, написаны были им те поразительные стихи, которые при всей их простоте и естественности хочется назвать не стихами, а песнопением, гимном — таким восторгом переполнены они через край.

«Вишневый садик возле хаты...» — это апофеоз шевченковского преклонения перед родной Украиной; с такой нежностью, какой проникнута каждая строка этих гениальных стихов, говорит он еще разве что о маленьких детях да о покинутых девушках. И хрущей, гудящих над вишнями, и пахарей, возвращающихся с поля,

и вечернюю звезду он будто приласкал словами — и каждый из нас, где бы мы ни родились, неизбежно влюбится в тихий украинский сельский вечер и хоть на минуту почувствует его родным для себя. Тут любовь и нежность Шевченко к Украине доходит до слез, подступающих к горлу, хотя в стихотворении нет ни единого печального слова; напротив, в нем все умиротворенно и счастливо... Под счастливыми строками о соловье и маленьких деточках и поющих девчатах стоит страшная пометка: «В каземате». Но чудо, творимое этими строчками, ощущается нами и без этой пометки. Мы можем вовсе не знать, где были они написаны, но самая музыка их заставляет нас чувствовать, что речь идет о счастье, уже утраченном, невозвратно погибшем.

...А следствие между тем двигалось своим чередом.

«Художника Шевченко, — гласил приговор, — за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

Николай утвердил приговор и собственной рукой написал:

«Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».

И началась новая эпоха невольничьей жизни Шевченко — солдатчина.

В «смердящей казарме», за тысячу верст от родины — в Орске, в Оренбурге, в Кос-Арале, в Новопетровском укреплении — Шевченко пробыл десять лет.

«Десять лет! Друг мой единственный! Вымолвить страшно, а вытерпеть! И за что вытерпеть?» писал он в одном из своих писем.

Приказ Николая исполнялся то с методической, буквальной точностью, то с некоторыми послаблениями. Были месяцы, когда какой-нибудь просвещенный начальник милостиво разрешал ему жить не в казарме, а на огороде и даже иметь при себе карандаш. Были годы, когда Тараса Григорьевича чуть ли не ежедневно обы-

скивали. Он жил в казарме, маршировал, «пригонял амуницию», ходил в караулы.

Письма, дневники и стихи свидетельствуют о невыносимой физической и нравственной пытке.

«Из меня, теперь пятидесятилетнего старика, тянут жилы по осьми часов в сутки».

«Если бы ты видел, между какими людьми верчусь я десять лет! Не дай господи, чтобы и приснились тебе когда-нибудь эти недолюдки! А я у них в кулаке сижу, дают, без всякого милосердия дают, а я обязан еще и кланяться, а то возьмет разом, да и раздавит, как вошь между ногтями!»

Тяжелым лишением было для него запрещение рисовать.

«Смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймет один только истинный художник», писал Шевченко.

«Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произвести такого холодного, нечеловеческого приговора», записал он однажды в своем дневнике.

...О, горе нам,
Невольникам и сиротам,
В степи бескрайной за Уралом!

Но ничто не могло заставить его отказаться от карандаша и кисти. Друзья переслали ему краски, и именно здесь, в ссылке, Шевченко, окруженный соглядатаями, под постоянной угрозой нового доноса и новой тюрьмы, работал так упорно и вдохновенно, что утвердил свой собственный стиль в картинах и пейзажах. Теперь уже никто не посмел бы сказать, что работы его неотличимы от работ Брюллова. Усвоив великолепную традицию русской и европейской живописи, к которой его приобщил Брюллов, Шевченко нашел свой особенный путь. Он писал картины из быта киргизов: вот киргизенок играет с кошкой, вот киргизы поят верблюдов — незамысловатые, простенькие сценки, но такие верные жизни, так чудесно чуждые академической красоты! В пейзажах он с удивительным мастерством передал особенности света в пустыне. И что всего примечательнее — в каждом его пейзаже все краски, все очертания подчинены какому-

нибудь отчетливо выраженному чувству: пейзаж изображает не только море, скалу или степь, но и тоску и одиночество автора.

Здесь, в ссылке, Шевченко создал серию картин о колоднике. Вот она жизнь, какая она есть, какой он с негодованием видит ее! «Притчей о блудном сыне» назвал Шевченко эту протестующую, революционную серию. Арестант, скованный цепями с другим. Арестант, сидящий в колодке. И, наконец, наказание шпицрутенами. Арестант уже снял рубаху. Сейчас застучат барабаны, во-всю пойдет работать «зеленая улица»...

Нет, ни обыски, ни гауптвахта, ни тюрьма, ни муштра не могли осилить Тараса Шевченко. Он был сильнее тех, у кого «сидел в кулаке», сильнее разлуки, расстояния, сильнее строя, который убивал его. В Оренбурге он ведет вольные речи с ссыльными польскими революционерами и всюду продолжает писать, сшивая из бумаги маленькие книжечки, пряча их за голенище сапога — «за халяву», продолжает писать лирические революционные стихи, оплакивая свою неволю и неволю закрепощенного народа, призывая к восстанию, мечтая о том времени, когда не останется «следу панского на Украине» («И рос я в дальней стороне...», «Когда мне лет тринадцать было...», «Ой, наточу товарища...», «И самому чудно! Что ж делать?..», «Козачковскому» и др.).

И не в одном селе — везде
И всюду в славной Украине
Паны лукавые людей
Впрягли в ярмо. И гинут, гинут
Свободных рыцарей сыны.
А распоганые паны
Ростовщикам, друзьям хорошим,
Несут последние штаны.

.....
Постыдно, страшно и погано
В пустыне этой пропадать.
Еще страшнее на Украине
Все видеть, плакать и молчать.

Редко доходят до ссыльного поэта письма. Кому сделала строгое внушение полиция, а кто и сам перестал писать... Да и какая почта в степной глуши! Не получая писем, Шевченко тоскует и мучается.

И снова мне не привезла
Ни слова почта с Украины!

...Нет, нет!

В холеру все поумирали,
А то хотя б клочок прислали
Бумаги той...

Но и без писем с Украины он всегда видел и слышал ее. Видел ее степи, слышал ее песни.

И всхожу я на вершину,
Стану, озираюсь,
Вспоминаю Украину,
Вспомнить не решаюсь.
Степь и тут и там, но эта
Изжелта-багрова,
Наша ж светится все лето
Синевой покрова.
И ее луга и нивы,
Древние курганы
Блещут вышивкой красивой,
Скатертью браной.

В форте Кос-Арал, за тысячи верст от Украины, он написал целый цикл украинских песен: плясовых, веселых:

Я в орешничек ходила
По орехи,
А мельника полюбила
Для потехи...

и грустных, задумчивых:

Куковала кукушечка
В зеленом лесочке...

И, читая эти грустные песни одну за другой, можно услышать, как лирическое чувство вырвалось, хлынуло через край и, сохранив весь строй народной песни, все эти постоянные эпитеты, принадлежащие народным песням, — широкую долину, высокую могилу, — обратило ее в личное, интимное стихотворение, проникнутое интонацией, единственной в мире — шевченковской:

И широкую долину,
И высокую могилу,
И тот вечер соловьиный,
И что снилось, говорилось —
Не забуду я...

В 1855 году умер Николай I — «коронованный фельд-фебель», как называл его Шевченко.

Друзья поэта начали усиленно хлопотать о «помиловании». После многочисленных отказов, неудач и новых хлопот, в 1857 году Александр II распорядился наконец вернуть Шевченко из ссылки.

В августе 1857 года Шевченко оставил свою «незамкнутую тюрьму». На многие месяцы задержали его в Нижнем-Новгороде, не разрешая въехать в столицу. Наконец в марте 1858 года он приехал в Москву, а из Москвы — в Петербург.

Каким вернулся он после десятилетней солдатчины? Он имел полное право написать в своем дневнике, что «все роды поругания и унижения» ничем не изменили его.

На пароходе, возвращаясь из ссылки, он читает и не может начитаться стихами декабриста Рыльева, сатирами Салтыкова-Щедрина, революционными стихами французских поэтов Барбье и Беранже. В Нижнем он читает брошюру Герцена «Крещеная собственность» (брошюру против крепостного права) и революционный журнал «Полярная звезда», издаваемый Герценом за границей. А впервые увидев номер герценовского «Колокола», он прижимает его к губам и целует.

Свои мысли он излагает в дневнике с полной правдивостью и свободой, с совершенным презрением к опасности. А ведь он находился под надзором полиции, и обыск мог случиться каждую минуту!

В Петербурге он сблизился с редакциями передовых демократических журналов — «Современника», «Искры», встречался с Чернышевским и Добролюбовым, с декабристами, возвращенными из ссылки, и с польскими революционерами.

Нет, горький опыт ничем не изменил его! Не только не изменил ничем в глубине души, но даже не заставил его быть скрытнее и сдержаннее. Самодержавный, помещичий строй применил к нему все виды своих пыток, но Шевченко слишком презирал этот строй со всеми его шпицрутенами, чтобы сдерживать или скрывать свои чувства. В 1859 году он поехал на Украину, и вот, толь-

ВЪ КАЗЕМАТІ.
МОИМЪ СОУЗНИКАМЪ
ПОСЛАЩАЮ

Титульная страница рукописи «В каземате» (1847 год).

ко что вырвавшись из десятилетней неволи, только что добравшись до родины, о которой тосковал столько лет, он снова начинает проповедовать: объясняет крестьянам, что жить следует без царя и без пана.

«Обличения его стали теперь безудержными, — пишет о нем один современник, — он разит и бьет, он весь пылает каким-то бешеным, всеистребляющим огнем».

В Нижнем он написал поэму «Неофиты» — поэму о свирепой расправе николаевского самодержавия с первыми поборниками свободы:

Хвала!

Хвала вам, души молодые,
Хвала вам, рыцари святые,
На веки вечные хвала!

Он пишет стихи, прославляющие декабристов, проклинаящие царя, жандармов и весь существующий порядок вещей:

О люди бедные, слепые!
Зачем вам изверги-цари?
Зачем кровавые псарии?
Ведь не собаки вы ценные!

Если бы хоть одна строчка этих стихов дошла до слуха жандармов, ему грозила бы новая ссылка, новая тюрьма, а может быть, и смерть.

Кругом идут толки об «освобождении крестьян». Либералы восхваляют царя, даже Герцен на мгновение склоняется перед «Освободителем». Многие друзья Шевченко уверовали в новую эру. Но сам он зорко, как и вождь революционной демократии 60-х годов Чернышевский, видит обман и ложь. Он не верит в благие намерения помещиков, он так же не дает подкупить, оболстать свою мысль, как не дал сломить ее. Он верит только в восстание.

Добра не ожидай,
Не ожидай желанной воли:
Ее замучил Николай,
Сама она не встанет боле.
Чтобы поднять и разбудить
Ее, больную, надо миром
Обух широкий закалить
И наточить острой секиру...

Жизнь его полна труда, хлопот и планов. Академия Художеств предоставила ему комнату. Он с жаром принялся за работу гравера. Он хлопотал о напечатании своих стихов, запрещенных цензурой, хлопотал о выкупе на волю своих братьев и сестер, которые все еще были крепостными. Чернышевский и Тургенев, как некогда Жуковский и Брюллов, приняли горячее участие в этих хлопотах.

Шевченко мечтал жениться, мечтал снова поехать на Украину.

Но жить ему оставалось недолго.



Автопортрет (1860 год).

Десять лет солдатчины превратили кудрявого, румяного здоровяка в лысого, морщинистого «дiда».

В конце 1860 года Шевченко тяжело заболел. Одно из последних его стихотворений кончается так:

...И снова думать стал о том,
О том, о чем и раньше думал.

Этой единственной мыслью, постоянной, непреклонной, неподкупной, — мыслью о воле и счастье народа — сильна и прекрасна его поэзия и его жизнь.

Украина, родина, была постоянной болью Шевченко. Над кем бы он ни плакал — над собой или над увянувшим деревом, — он всегда плакал над Украиной и над ее закрепощенным народом; кто бы ни вызывал его гнев — это всегда был гнев против тех, кого он считал врагами Украины; о ком бы и о чем ни вспоминал — он всегда вспоминал о ней... Самый язык, самые образы стихотворений и поэм Шевченко — это язык и образы украинских исторических «дум» и народных песен. Не то чтобы он заимствовал свой язык из народных песен, не то чтобы он подражал им — нет, но их язык был его языком: и калина, и чайка, и челн, и круторогие волы, и Днепр, и батьки-атаманы появлялись в его стихах столь же естественно, как естественно жили они в песнях слепцов-кобзарей. Он был не подражателем народного языка, а хозяином, языкотворцем и потому приумножил доставшееся ему наследство. Он воспел героев украинской вольнолюбивой старины и создал в своих поэмах образы новых героев, новых борцов и мучеников и поселил их в сознании народа на веки веков.

Слово «Украина» звучит в его стихах без конца, повторяется сотни раз. Одним этим словом, которое, казалось бы, всегда равно самому себе и состоит всегда из одних и тех же звуков, он умел выразить и нежность, и великую ненависть, и негодование, и ласку:

Я так ее, я так люблю
Мою Украину родную...

или:

Свете тихий, краю милый,
Моя Украина...

Ласковое, нежное слово, — но в гневных стихах, избличающих украинских помещиков в их злодеяниях, оно звучит жестко, как брошенный камень:

Погибнешь, сгинешь, Украина!.

Это слово значило для него так много и было в его устах так выразительно, что если бы он позабыл все остальные слова — он, кажется, из одного этого мог бы создать поэму.

Но любовь к своему, к родному, не суживала, а, наоборот, расширяла его способность сочувствовать чужому горю и постигать чужое величие. Ненавидя русское самодержавие всеми силами души, он сумел понять и полюбить русскую культуру так искренне, проникнуться ею так органически, что дневник и многие стихи и свои повести писал по-русски. Он любил русские песни, преклонялся перед Пушкиным, Лермонтовым, Герценом, Гоголем, Щедриным и был идейным сподвижником русских революционеров — Чернышевского и Добролюбова. Он прославил мужество народов Кавказа, воспел Яна Гуса — героя вольнолюбивой Чехии; он, ненавидевший польское панство, веками терзавшее украинцев, дружил с польскими ссыльными, переводил польских поэтов и в задушевных стихах протянул польскому народу братскую руку:

Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое подай!

...10 марта 1861 года Тарас Шевченко скончался.)

На его могиле среди прочих речей была произнесена речь переводчиком и другом его, поэтом «Искры» Николаем Курочкиным:

«Не о многих можно сказать так, как о нем: он сделал при жизни свое дело».

Дело это оказалось незыблемо прочным. Его не уничтожила смерть.

Могила Шевченко — на высокой горе, над Днепром, возле города Канева — сразу стала местом паломничества трудового народа. Жандармы тщетно гнали людей, отовсюду стекавшихся туда на поклон. Друзья и почитатели Шевченко бережно собрали и сохранили его

великое наследие. После Октябрьской социалистической революции оно сделалось достоянием общим. Народы Советского Союза поют его песни, воздвигают ему памятники, берегут его картины и рукописи в музеях. Но слово украинского поэта — не музейная реликвия: оно и сейчас, и через сто лет, могущественно и живо. В годы Великой Отечественной войны слово его приобрело особую силу.

Любовь и уважение Шевченко к трудовому народу, к «братьям-гречкосеям», его жалость и нежность к детям, его преклонение перед материнством, его призывы к борьбе против наглого насилия, оскорбляющего и материнство, и детство, и труд, и самую землю, его вера в то, что

...на воспрянувшей земле
Врага не станет, супостата,
И в каждом будешь видеть брата,
И люди будут на земле! —

все сокровище воинствующей правды, заключенное в его стихах, — все целиком направлено против всякой тирании, всякого насилия и гнета.

Лидия Чуковская

**ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**





Ревёт и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер листья рвет,
До долу клонит лес высокий
И волны грозные несет.

А бледный месяц той порою
За темной тучею блуждал.
Как челн, застигнутый волною,
То выплывал, то пропадал.

Еще в селе не просыпались,
Петух зари еще не пел...
Сычи в лесу перекликались,
Да яшень гнулся и скрипел.

Петербург, 1838.

Думы мои, думы мои,
Не житье мне с вами!
Что вы встали на странице
Грустными рядами?
Что вас ветер не развеял
В степи на просторе?
Что вас ночью, темной ночью
Не сгубило горе?

Видно, горем насмех рождены вы были;
Слезы вас поили — лучше б затопили,
Унесли бы в море, в широкое поле, —
Не стали бы люди спрашивать-пытать:
Чем я недоволен? Чем я тяжело болен?
Что клянусь я долю? «От безделья, знать...»
Смеясь, не сказали б...

Цветы мои, дети!
Зачем я растил вас, зачем вас берег?
Заплачет ли сердце одно на всем свете,
Как я с вами плакал, один-одинок?
Может быть, найдется сердце
Девичье да очи,
Что заплачут над моими
Думами средь ночи.
Мне б одну слезу такую —
И пан над панами!
Думы мои, думы мои,
Тяжело мне с вами!

Об очах девичьих карих,
С бровях высоких
Сердце пело, как умело,
В стороне далекой.
С ночах весенних темных,
С садах вишневых,
С девичьих нежных ласках
Находило слово.
Но про степи да курганы,
Что на Украине,
Не хотело мое сердце
Запеть на чужбине.

Не хотело в лес, в сугробы,
Ради горькой встречи,
Собирать казацье братство
Запорожской Сечи.
Пусть над милой степью души
Казацьи витают.
Там лежит земля родная —
От края до края.
Там, как воля, что минулась, —
Синий Днепр широкий.
Там режут, режут донные
Седые пороги.
Там гуляла, гарцовала
Казацкая воля,
Польской шляхтой, татарвою
Засевала поле,
Поливала вражьей кровью,
Да, видать, остыла.
Прилегла. Минули годы.
Выросла могила.
И орел над нею черный
Сторожем летает,
А про волю добрым людям
Кобзарь напевает.
Кобзари-слепцы о славе
Поют о казацкой,
А я плакать лишь умею,
А я только плачу.
Только плачу об Украине,
Будто бессловесный,
Петь про горе неохота —
Всем оно известно...
А тому, кто к добрым людям
Подойдет с душою,
Тому ад на этом свете,
А на том... Тоскою
Не заманишь к себе долю,
Добрую удачу,
Лучше ж я свои напасти
От людей запрячу.
Затаю тоску под сердцем,
Не дам горю воли,

Чтоб враги мои не знали
И глаз не кололи.
Пускай дума, точно ворон,
Каркает, летает, —
Соловьем щебечет сердце,
Тихонько рыдает.
Скрытно — люди не увидят
И не посмеются.
И не нужно утешенья —
Пускай слезы льются.
Землю черствую чужую
Пускай они мочат.
Срок придет — попы засыплют
Чужим песком очи.
Вот и ладно. А что делать?
Тоска не поможет.
А кому глядеть завидно —
Карай того, боже.

Думы мои, думы мои,
Родимые дети!
Сам растил вас, а не знаю,
Куда деть на свете.
Вдоль дороги сиротами
В нашу Украину
Пробирайтесь. Я останусь,
На чужбине сгину.
Там найдете, мои дети,
Привет нелукавый.
Там скорей найдете правду,
А может, и славу!

Привечай же, мать родная,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына!

Петербург, 1839.

ПЕРЕБЕНДЯ

Кто ж слепого Перебендю
Не слышал, не знает?
Бродит он по свету с кобзой,
Поет и играет.
А кто песней да игрою
Помогает люду
Позабыть нужду и горе,
Того знают всюду.
Под кустом иль под забором
Спит он, где придется:
Нет ему на свете хаты.
Недоля смеется
Над седую головою.
Но кобзарь не тужит,
Сядет наземь и затянет:
«Ой, не шуми, луже...»
Запоет и вспомнит, старый,
Что он сиротина,
Погорюет втихомолку
Над своей судьбиной.

Вот какой он, Перебендя,
Бездомный, безотчий:
Он про «Чалого» заводит,
А «Горлицей» кончит.
У реки споеет дивчатам
«Гриця» и «веснянку»,
А в шинке веселым хлопцам —
«Сербина», «Шинкарку».
На пирушке у женатых
(Где свекровь лихая) —
О раките придорожной,
А потом «У гая».
На базаре меж возами,
Чтоб все люди знали,
Запеваает тяжко, скорбно,
Как Сечь разоряли.
Вот какой он, Перебендя,
Оборванный, босый:

Начинает песню шуткой,
А свернет на слезы...

Ветер шепчется с травой,
По полю гуляет,
Перебендя над могилой
На кобзе играет.
Степь раздольная, как море,
Вкруг него синее;
За курганами — курганы,
А там — только мреет...
Сивый ус и чуб косматый
Ветер развевает.
Ветер — он один лишь слышит,
Как старик играет,
Как сердце смеется, а очи слепые
Плачут...

Укрылся кобзарь от людей,
Пришел на могилу в просторы степные,
Чтоб ветер слова раскидал среди полей,
Чтоб люди не слышали песни заветной.
То с богом открыто душа говорит,
То сердце щебечет от радости светлой,
А чистая дума свободно летит
Орлом сизогрудым в небесную просинь
И тучи крылами широкими рвет.
Присядет на солнце и ласково спросит,
Где солнце ночует, откуда встает?
Послушает море — о чем оно спорит?
Пошлет молчаливым утесам привет
И снова на небо, — внизу только горе,
Земля велика, а пристанища нет
Тому, кто душою все знает и чует,
Что море вещает, где солнце ночует, —
Такие на муки родятся на свет.
Один он меж нами, как солнце, далекий,
И людям известен лишь тем, что поет,
А если б узнали, как он, одинокий,
С морями и скалами дружбу ведет, —
Его бы, как дурня, они засмеяли,
Безумным назвали и прочь отогнали:
Мол, пусть он, ретивый, у моря живет!



Выдубецкий монастырь в Киеве.

Добрый путь надумал, старче!
Хорошо, мой милый,
Что играть и петь уходишь
В степи на могилу.
Так ходи же, голубь ясный,
Чтоб люди не знали,
И, пока не смолкнет сердце,
Пой ветрам и далям.

.

Вот какой он, Перебендя,
Старый и незрячий:
Запевает — так смеется,
А кончает плачем.

Петербург, 1839.

ГАМАЛИЯ

«Ой, все нет и нет ни волны, ни ветра
С нашей Украины!
Скоро ль соберутся да пойдут на турка, —
Не знаем мы на чужбине.
Ой, повеяй нам, ветер, с Великого Луга,
Повеяй через море!
Осуши нам слезы, заглуши оковы,
Развей наше горе.
Ой, взиграй, взиграй, широкое море,
Да под теми байдаками,
Что ведут казаки, — видны только шапки, —
Что плывут, плывут за нами!
Ой, боже наш, боже, — пусть и не за нами, —
Только б с нашей Украины;
Только б нам услышать о казацкой славе
До своей кончины!»

Так пели в Скутари казаки с тоскою,
Так пели бедняги; а слезы лились,
Катились, казацкие, буйной рекою.
И вздрогнул Босфор: никогда на веку
Не слышал казацкого плача, широкий.
Наморщил он шкуру, подобно быку,
И грозные волны далеко-далеко —
До самого моря — на ребрах послал.
А море схватило — в Лиман покатило;
Лиман встрепенулся и — полному силы —
Днепру о казацкой тоске рассказал.

Захотел старик наш дюжий,
С усов аж пена потекла.
«Великий Луг! Ты слышишь, друже?
Ты слышишь, Хóртица-сестра?»

«Мы слышим, слышим!» отвечали.
И Днепр покрыли байдаки,
И в них запели казаки:

«У турчанки-басурманки
Богатая хата.

Гей ты, море, взыграй,
Выше вóлны вздымай! —
Едем, едем сватать.

У турчанки денег много
В сундуке хранится.
Не сундук опустошать —
Едем братьев выручать,
За Украину биться.

У турчанки — янычары
И паша впридачу.
Гей, гой, вражья рать,
Никому нас не сдержать, —
Пусть враги поплачут!..»

Плывут себе, распевают.
Буря налетает.
Впереди всех Гамалия
Судном управляет.
— Гамалия, море злится,
Что-то будет с нами?
— Не проглотит! — И исчезли,
Скрылись за волнами.

В гареме — в раю — Византия заснула,
И дремлет Скутари; Босфор лишь гудит.
И рвет он, и мечет, и ревом и гулом
Спешит Византию свою разбудить.
«Не буди, Босфоре, — будет тебе горе:
Твои ребра белые песком занесу,
Илом забросаю... В далеком просторе
Разве ты не видишь, кого я несу,
Кто плывет к султану?..»

Так море сказало
(Любило, широкое, храбрых славян).
Босфор замолчал. Византия дремала.
Дремал на подушках в гареме султан.
И только в Скутари покоя не знают
Казачи-бедняги. Чего ж они ждут?
По-своему бога они умоляют,
А волны плывут, Украину зовут:

«О, милый боже Украины,
Не дай погибнуть на чужбине
В неволе вольным казакам!
Нам стыдно здесь и стыдно там —
Вставать из вражьей домовины,
На суд твой праведный итти,
Оковы на руках нести,
Стоять в цепях перед тобою!..»
«Круши врага! Смелее в бой!»
Вдруг за высокою стеною
Призыв раздался громовой.

Гамалия, что-то будет?
В Скутари смятенье.
«Бейте, режьте!» — Гамалия
Бросился в сраженье.

Загрохотали и завывали
В Скутари пушки; крик и гром...
Но прут казаки напролом —
И янычары отступили.

Гамалия по Скутари,
Словно вихрь, гуляет.
Сам темницу разбивает,
Кандалы снимает.
«Вылетайте, соколята,
На свободу снова!»
Встрепенулись соколята
От родного слова.
Ночь смотрела беспокойно
В улицы кривые:
Знать, она казачью удаль
Видела впервые.
Не пугайся, полюбуйся
На пир небывалый!
Что ж темно так, если праздник
Наступил немалый?
Мы не воры с Гамалией,
Чтобы есть нам сало
В темноте... «Засветим, хлопцы!» —
И взлетает пламя.



Гамалия.

И Скутари — весь в пожаре
Вместе с кораблями.
Очухалась Византия,
Видит — пламя хлещет.
И спешит она на помощь,
Зубами скрежещет.

Ревет, лютует Византия,
Руками берег достает.
Достала, гикнула, встает
И — на ножах в крови застыла.

Скутари, словно ад, пылает,
Через базары кровь течет —
Босфор широкий доливает.
Казачи, устали не зная,
Как птицы черные, летают:
От них и ветер не уйдет,
Их даже пламя не берет!
Напором яростным и смелым
Ломают стены там и тут
И в шапках золото несут.
Но вот к концу подходит дело,
Казачи сходятся; сошлись
И от пожара закурили;
За весла весело взялись
И — только волны забурлили.

Плывут себе, будто дома,
Будто недалече.
Дружно песню запевают,
Как водится в Сечи:

«Атаман наш Гамалия
Неудач не знает,
Вместе с хлопцами своими
По морю гуляет.
По морю гуляет,
Славу добывает,
Из турецкой из неволи
Братьев вызволяет.
Как примчался он в Скутари
Из родной краины,
А в Скутари запорожцы
Ждут лихой кончины.
Ой, как крикнул Гамалия:
«Будем жить мы с вами!
Будем жить мы, будем пить мы,
Воевать с врагами;
Курени свои покроем
Бархатом, коврами».
Запорожцы вылетали,
В поле жито жали.



Голова казака.

Жито жали, в копны клали,
Песню запевали:

«Слава тебе, Гамалия,
На весь свет широкий,
На весь свет широкий,
На всю Украину,
Что пришел ты нам на помощь
В лихую годину!»

Поют себе, плывут назад,
Плывет последним Гамалия:
Он, как орел, своих орлят
Сам стережет в часы ночные.
Но не погналась Византия:
Она боялась, что сожжет
Чернец ее Галату снова
Иль на море Иван Подкова
На поединок позовет.
Так плывут они. А солнце
Воду красит, золотит.
А вода под байдаками
И клоочет и бурлит.

— Гамалия, ветер веет,
Наше море — с нами!
Вот оно! — и запорожцы
Скрылись за волнами.

Петербург, 1842.

СОВА

Родила казачка сына
В зеленой дуброве.
Дала сыну кари очи
Да черные брови.
Укрывала, пеленала,
Всех святых просила —
Счастья вымолить хотела
Для первенца-сына.
Приговаривала тихо:
«Пошли тебе боже
Всего, чего мать родная
Дать тебе не может».
До восхода брала воду,
В той воде купала.
До полночи колыхала,
Песню напевала:

«Баюшки-бай,
Спи, засыпай!
Счастье кукушка
Мне предсказала —
Жить мне до сотни
Лет насчитала,
Жить — не журиться,
Ходить в нарядах,
Сына родного
Растить на радость.
Молодец будет
Почище князя.
Выше тополя,
Крепче вяза.

Гибкий, дебёлый,
Добрый, веселый.
Растила недаром —
Найду тебе пару,
Подстать сыночку --
Купецкую дочку,
Впору сыночку —
Сотника дочку.
В черевичках дорогих,
Хороша собою,
По светлице ходит павой,
Говорит с тобою.
Ходят рядом молодые,
В хате — рай небесный.
Мать любитесь — и сердцу
От радости тесно.

Ой, сыне, мой сыне,
Ой, кто мне ответит:
Есть ли лучше в Украине,
Во всем белом свете?
Не бывало и не будет —
Полюбуйтесь, люди!
Нету лучшего... А долю
Сам себе добудет!»

Ой, кукушка ты, кукушка,
Зачем куковала,
Жизни сладкой, беспечальной
Сто лет насчитала?
Разве может быть на свете
Послушная доля,
Разве может мать родная
Кликнуть долю с поля?
Милым детям кликнуть счастье,
И талан, и волю?..
Кликнешь долю, а недоля
Сторожить их будет
На дороге, без дороги,
Повсюду, где люди.

Любовалась мать родная
Подроставшим сыном...

Той порой отец-кормилец
Белый свет покинул.
Он жену вдовой оставил,
Сына — сиротою.
Нелегко им жить досталось
С горем да с нуждою.
Побрела вдова к соседям,
Кланяется, плачет.
Присудили ей соседи,
Чтобы шла батрачить.
Порешили — присудили.
Покинула хату
И пошла за хлеб насущный
Служить у богатых.
День и ночь она горбела,
Подати платила,
Убивалась, а сыночку
Жупанок купила,
Чтоб дитё, хотя и вдовье,
В школу бы ходило.

Ой, ты доля, ты доля,
Ой, житее ты худое!
Ходишь следом за вдовою
Торною тропою.
Ходишь, ходишь да рыщешь,
Как оборванный нищий.
Богачу вода и в гору
Потечет послушно,
А бедняге и в овраге
Рыть колодец нужно.
У богатого ребяты —
Что твоя картинка,
У вдовы один мальчонка —
И тот как былинка.

Но дождалась мать-батрачка,
Вырастила сына,
Ни красою не обижен,
Ни умом, ни силой.
Как у бога за дверями,
Вдова отдыхала.



Портрет мальчика.

Сохли первые невесты
По нему бывало.
Дочь родителей богатых
Ждала втихомолку,
Только зря платок на память
Вышивала шелком...

Из-за моря шло несчастье...
Зашумели сходки.
Хлопцам-рекрутам надели
На ноги колодки.
Повезли их утром в город
На дорогах скрипучих.
Следом матери, невесты
Шли в слезах горючих.
На каждом привале
Посты выставляли.

Мать-вдову взглянуть на сына
Близко не пускали.

Вот доставили к приему,
Донага раздели.
Глядь — хромые да больные
У богатых дети.
Недомерки да калеки,
Ни росту, ни стати.
Тот горбатый, тот женатый,
Тех четверо в хате.
«Непригодны! Отправляйтесь
Домой на полати».

А у вдовы один сын —
«Годен!» — ровно под аршин.

Вновь пришлось покинуть хату —
Как прожить иначе?
И пошла вдова-старуха
К евреям батрачить.
У крещеных нету места —
Стара, ненадёжна.
Уж просила б христа-ради —
Сунуть корку можно.
Христа-ради... Не дай, боже,
Чтоб тому случиться:
Попросить у богатея
И воды напиться.

На письмишко по копейке
Копила, сбирала.
Написала сыну в войско —
Будто легче стало.
Будто легче... Но проходит
И зима и лето,
Год за годом — пять и десять...
Нет и нет ответа.
Нету вести. Снарядилась
Старуха в дорогу —
Злых собак дразнить котомкой,
Одёжей убогой.
По селу прошла за выгон —
К полевым воротцам.



Вдовья хата

День и ночь сидит и смотрит:
Может, сын вернется.
Ждет-пождет... Не слышно сына,
У дороги — глухо.
Похудела, потемнела —
Не узнать старуху.
И кому ее, такую,
Узнавать неволя?
Так сидит себе, тоскует
Да глаза мозолит.
Дни идут, проходят ночи —
Минули все сроки, —
Не видать солдата-сына,
Пусто на дороге...

Над водою в тихий вечер
Чуть шумит камыш сухой.
Ожидает мать родная
Сына к ужину домой.

Над водою в поздний вечер
Ветерок осоку гнет.
В темной роще на свиданье
Казака дивчина ждет...
Над водою ветер веет,
Нагибает лозы.
Мать родная и дивчина
Проливают слезы.
Но поплакала дивчина —
Петь, как прежде, стала.
А поплакала родная —
В голос зарыдала.
И молилась, и рыдала,
Кляла все на свете:
«Горько с вами, тяжко с вами,
Родимые дети!..»

Вдовьи высохшие руки
К небу поднимала,
Злую долю проклинала,
Бога призывала...
То как будто онемееет
В думе безотрадной,
На пустынную дорогу
Смотрит, смотрит жадно.
Вот проезжий, вот прохожий
Держит путь куда-то.
«Не видали, не встречали
Моего солдата?» —
«Не видали, не слышали»,
Отвечают старой.
Уж и спрашивать напрасно
И плакать устала...
Помутилася от горя,
От лихой кручины,
Подобрала у дороги
С земли кирпичину.
И сидит и напевает,
Как над зыбкой сына:

«Змея хату подпалила,
Детям каши наварила,

Лапти новые сплела,
Малым детушкам дала...
Гуси-лебеди летели,
Опустились, посидели,
Полетели через дол.
На кургане — орел.
На кургане середь ночи
Он клюет казачьи очи,
А дивчина молодая
Мила друга поджидает...»

По задворкам спозаранку
Черепки сбирала:
Всё гостинцы да подарки
Сыну запасала.
А в ночи — полуодета,
Страшная, худая —
По селу она ходила,
Что-то напевая.
Люди добрые ворчали —
Спать, мол, не давала,
Мол, крапиву под их тыном
Да бурьян топтала.
Дети глупые гонялись
Следом за вдовою
И дразнили для потехи
Старою совою.

Петербург, 1844.

М. С. ЩЕПКИНУ

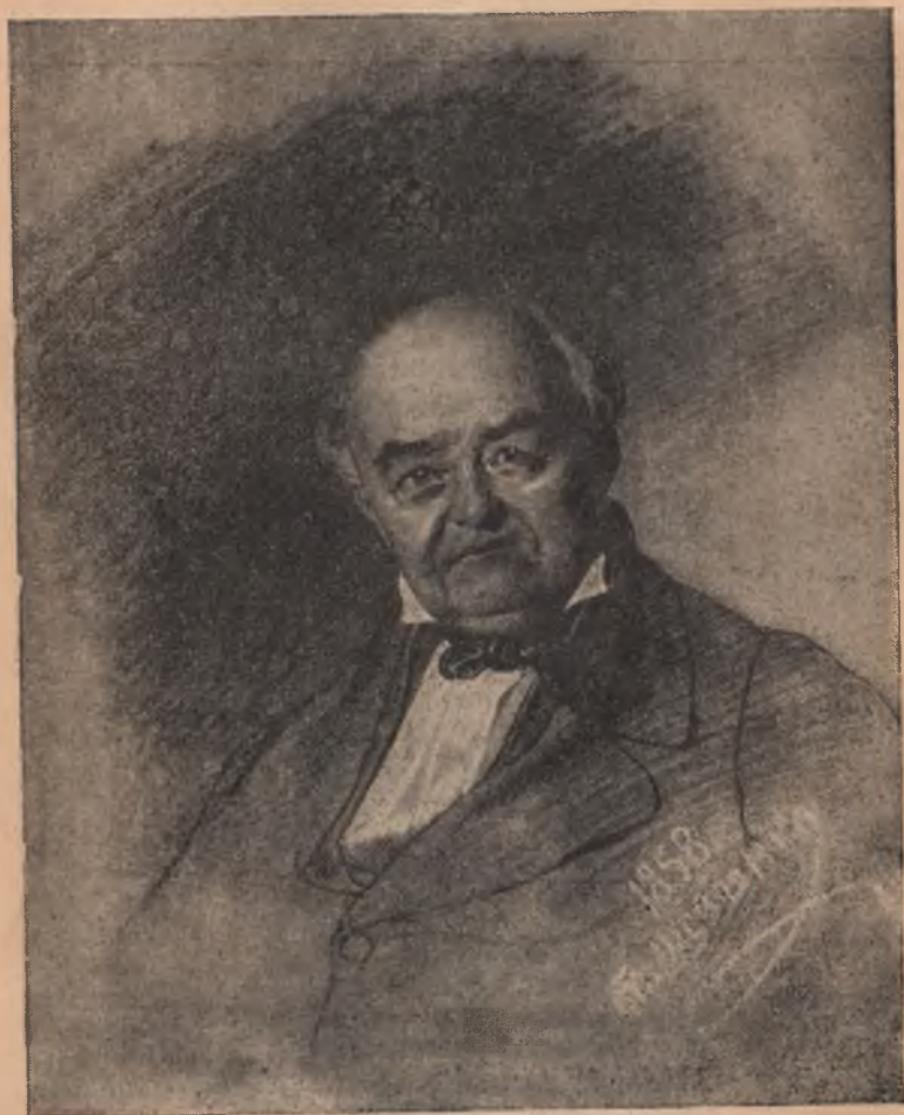
Зачаруй меня, волшебник.
Друже сивоусый!
Ты закрыл для мира сердце,
Я ж еще боюсь, —
Страшно мне дотла разрушить
Дом свой обгорелый,
Без мечты остаться страшно
С сердцем опустелым.

Может, явится надежда
С той живой водою,
С той целительной отрадой —
Светлою слезою.
Может, сжалится, вернется
Вновь на пепелище
И хотя б внутри побелит
Темное жилище,
И натопит, и нагреет,
И огонь засветит;
Может, раз еще проснутся
Мои думы-дети.
Может, с ними, как бывало,
Помолюсь, рыдая,
И увижу солнце правды
Хоть во сне, хоть краем!..
Обмани, но посоветуй,
Научи, как друга,
Что мне — плакать иль молиться,
Иль — виском об угол?!

Петербург, 1844.

Не женися на богатой —
Выгонит из хаты.
И на бедной не женися —
Знать не будешь сна ты.
А женись на вольной воле,
На казацкой доле.
Не богата, но зато уж
И простора вволю.
Но зато никто не лезет:
«Что ты, друг, не весел
Да отчего да почему
Голову повесил?»
Вдвоем как-то легче, мол,
Если кто обидит.
Ты не верь им: легче плакать,
Коль никто не видит.

Миргород, 1845.



Михаил Семенович Щепкин.

ЕРЕТИК

Шафарик у

Подожгли соседи злые
У соседа хату
И лежат себе, согревшись,
Мирным сном объаты.
Да забыли серый пепел
По ветру развеять.
Лежит пепел на распутьи.
А в том пепле тлеет
Искра пламени большого
И не погасает.
Ждет, когда раздутый
Вспыхнет вновь огонь, —
как мститель

Ждет своей минуты,
Злой минуты! Тлела искра,
Тлела — поджидала
На широком раздорожьи,
Да и гаснуть стала.

Вот так и немцы дом просторный
Сожгли — славянскую семью,
Разъединив враждою черной,
Впустив неслышно и проворно
Усобиц лютую змею.

Полилися реки крови,
Пожар потушили,
А сирот и пепелище
Немцы поделили.
И в оковах вырастали
Славянские дети,
Позабывши в той неволе,
Кто они на свете.
А на старом пепелище
Искра братства тлела,
Дотлевала, ожидала
Крепких рук и смелых —
И дождалась!.. Ты увидел
Под пеплом глубоко

Огонь добрый — смелым сердцем
И орлиным оком.
И зажег ты яркий светоч —
Светоч правды, воли, —
И славян семью большую
Во тьме и неволе
Перечислил до едина —
Перечислил мертвых,
А не славян. И восстал ты
Среди тел простертых —
На всемирном раздорожьи
Иезекиилем.
И, о чудо! Трупы встали
И глаза раскрыли;
Обняли друг друга братья
И проговорили
Слово тихое с любовью
На веки и веки!
И слились в едином море
Славянские реки!

Слава тебе, любомудру,
Чеху-славянину,
Что не дал ты нашу правду
Немецкой пучине
Захлестнуть! И наше море,
Славянское море,
Снова станет многоводным,
И в его просторе
С крепкой снастью, под ветрилом,
Добрым ветром полным,
Поплывет наш челн по морю,
По широким волнам!

Слава тебе, Шафарику,
Во веки и веки,
Что в одно собрал ты море
Славянские реки!

Так встречай же в своей славе
И мое ты слово,
Лепту — думу немудрую
Про чеха святого,

Великого мученика —
Про славного Гуса!
Прими, отче! А я тихо
Богу помолюся,
Чтобы стали все славяне
Братьями-друзьями,
Сыновьями солнца правды
И еретиками,
Как тот еретик в Констанце,
Муж великий, правый!
Принесут они навеки
Миру мир и славу!

Переяслав, 22 ноября 1845.

Камень, его же небрегоша зиж-
душии, сей бысть во главу угла:
от Господа бысть сей, и есть ди-
вен во очесех наших.

Псалом 117, стих 22

«Кругом неправда и неволя,
Народ замученный молчит,
А на апостольском престоле
Монах откормленный сидит,
Людскою кровию торгуя,
Твой светлый рай сдает внаём...
О царь небесный! Суд твой всеу,
И всеу царствие твое!

Разбойники, людоеды
Правду побороли,
Осмеяли твою славу,
И силу, и волю!
Земля скованная плачет,
Словно мать по детям.
Кто собьет оковы эти,
Встанет в лихолетье
За евангелие правды,
За народ забитый?!
Некому! Неужто ж, боже,
И не ждать защиты?

Нет! Ударит час великий,
Час небесной кары!
Распадутся три короны
Высокой тиары!..

Распадутся! Благослови
На месть и на муки,
Благослови мои, боже,
Нетвердые руки!..»

Так в келье Гус, с неправдой злою
Борясь, задумал разорвать
Оковы ада... И святое,
Святое чудо показать
Очам незрячим.

«Поборюсь...

Со мною бог!.. И да свершится!»
И в Вифлеемскую каплицу
Пошел молиться добрый Гус...

— «Во имя господи Христа,
За нас распятого на древе,
И всех апостолов святых,
Петра и Павла особливо,
Мы отпускаем все грехи
Вот этой буллою святою
Рабыне божьей...»

Этой самой,

Что позавчера водили
По улицам Праги!
Этой самой, что шаталась,
Упившись хмелем,
По шинкам да по казармам,
По монашьям кельям!
Эта деньги раздобыла
Да буллу купила —
И теперь свята!
О боже!

О боже мой милый!
О господи славы! Помилуй людей!
Отдохни от гнева в светлых сенях рая!

За что пропадают? За что ты караешь
Своих и покорных и добрых детей?!

За что затмил их ясны очи
И вольный разум их сковал
Цепями непроглядной ночи?..
Прозрейте, люди, день настал!
Снимите бельма, шире груди!
Проснитесь, чехи! Вы же — люди,
А не погеха чернецам!
Злодеи, палачи в тиарах
Всё обратили в прах и дым,
Как там, в Московии, татары,
И догматы свои слепым
Нам навязали!.. Кровь, пожары,
Все зло на свете, войны, свары,
Мученья страшные, разврат,
Весь Рим — крошечный ад.
Так вот их догматы и слава!
Чего славней!.. А нынче — вот
Установление конклава:
Кто, буллы не купив, умрет,
Тот — прямо в ад! А если плату
Ты внес двойную — режь хоть брата,
Всех, кроме пап и чернецов, —
И в рай ступай в конце концов!
И даже в церкви воры рады
Обворовать друг друга! Гады!
Насытились ли вы вполне
Людскою кровью?.. Нет, не мне,
Великий господи, простому
Рабу, судить твои дела
Великие: ведь людям зла
Не причинишь ты попустому!

Молю я, господи, помилуй,
Спаси ты нас, святая сила!
Язык мой язвами клейми,
Но язвы мира изыми!
Не дай глумиться ты лукавым
И над твоею вечной славой
И над смиренными людьми! —



Автопортрет (1843 год).

И плакал Гус, твердя молитву,
Слезами тяжкими... Народ
Дивился молча: что творит он?
И на кого он восстает?!

«Глядите, люди! Вот вам булла,
Что я читал!» — И показал
Ее толпе. Толпу шатнуло:
Гус буллу папскую порвал.

Из Вифлеемской той каплицы
До самой мировой столицы
Грозами эхо понеслось.
Монахи скрылись. Грозной карой
В конклаве эхо отдалось,
И дрогнула, кренясь, тиара.

Зашипели в Ватикане
Змеями монахи.
Авиньон с монашьям Римом
Зашептался в страхе.
Зашептались антипапы,
Аж стены трясутся
От шопота. Кардиналы
Гадюками вьются
Вкруг тиары и украдкой
Меж собой грызутся,
Как коты за мышшь... И как же!
Одного лишь мяса
Горы целые! А шкура?!
Даже дом затрясся,
Как послышалось, что в Праге
Уж гогочут гуси
И летят с орлами биться...

Слохватился, струся,
Тут конклав... И порешили:
Меж собой не споря,
Встать на Гуса и в Констанце
Воронью быть в сборе!
Да чтоб понизу и сверху
Глядячи, монахи

Не дали в славянском поле
Скрыться серой птахе.
Точно галочье слетелось —
Монахи толпою
Повалили; степь, дороги
Точно саранчою
Покрылись: герцоги бароны,
Псарь, герольды, шинкари
И трубадуры-кобзари;
Змеятся латников колонны;
За герцогинями без счета
Прет немчура: те — налегке,
У этих — сокол на руке...
Кишат! Все рвется на охоту,
Как гад на солнышко спеша!
О чех! Жива ль твоя душа?
Глянь, сколько силы повалило,
Как будто с сарацином в бой
Иль на великого Аттилу!

А в Праге ропот, гул глухой,
И кесаря, и Вячеслава,
И весь собор тысячеглавый
Там вслух бранят наперебой,
В Констанц не отпуская Гуса.
«Жив бог! Жива душа моя!
Я смерти, братья, не боюсь!
Я докажу тем змеям! Я
У них, насытых, вырву жала!..»
И Гуса Прага провожала,
Как дочь — отца...

Утонул Констанц на зорьке
В колокольном звоне.
Собирались кардиналы,
Как быки в загоне,
И румяны и дородны;
Прелатов орава,
Трое пап, князья, баронство,
Венчаные главы,
Все собрались, как иуды,
На суд нечестивый

Над Христом. Раздоры, гомон
Нестройный, крикливый,
Будто в цыганском таборе
Иль в еврейской школе.
И вдруг — разом онемели!..

Кедром среди поля
Ливанского Гус, в оковах,
Стал перед собором,
И окинул нечестивых
Он орлиным взором.
Задрожали, побледнели,
Молча взор вперили
В мученика.

«Что ж, меня вы
Спорить звали или
На мои глядеть оковы?..» —
«Стой, предеержкий, молча!..»
Гадюками зашипели,
Завыли по-волчьи:

«Еретик ты! Еретик ты!
Ты погряз в расколе!
Ты усобицы лишь сеешь,
Ты святейшей воли
Не приемлешь!» — «Одно слово!» —
«Господом проклятый!
Еретик ты! Еретик ты!..»
Ревели прелаты.
«Ты усобник!» — «Одно слово!» —
«Замолчи, проклятый!»
Гус взглянул на пап и молча
Вышел из палаты.
«Побороли! Побороли!»
И, теряя разум:
«Аутодафе! Аутодафе!..»
Заревели разом.

И всласть монашеская братья
Всю ночь с баронами пила.

На Гуса сыпались проклятья...
Но вот гудят колокола.
Идут молиться в церковь божью
За грешника монахи в ряд.
Горит багровая заря,
И солнце хочет видеть тоже,
Что с Гусом праведным творят!

Колокольный звон несется...
В кандалах, под стражей,
На Голгофу ведут Гуса...
И не дрогнул даже
Пред костром; ступил на пламя
Он с молитвой смело:
«О господи милосердый,
Что, скажи, я сделал
Этим людям? Твоим людям!
За что меня судят?
За что меня распинают?
О, молитесь, люди
Неповинные! И с вами
То же, то же будет!
Лютый зверь пришел, овечьей
Шкурою покрытый!
Точит когти... Горы, стены
От него защиты
Не дадут вам!.. Разольется
Багряное море
Крови! Крови детей ваших!
О, горе! О, горе!
Вон те звери... В светлых ризах...
Очи злобу мечут...
Уже крови...

— Жги! Пожарче! —

Ващей, человеческой
Крови жаждут».

И за дымом

Праведника скрыло.
«О, молитесь же! Молитесь!
Господи! Помилуй,
Отпусти им грех — не ведят...
И не слышно стало!

Вкруг огня, как псы на страже,
Цепь монахов встала.
Все боялись, чтоб не выполз
Он змеей из жара,
Не обвил кольцом корону
Или же тиару.

Погас костер; дунул ветер,
Всюду пепел сея.
Видели простые люди
Огненного змея
На тиаре. Расходились
И «Te deum» пели
Чернецы, и за трапезой,
Вкушая, сидели
День и ночь — опухли даже!..
Малою семьею
Сошлись чехи. Из-под пепла
Горсть земли с собою
Взяли в Прагу... Так монахи
Гуса осудили
И сожгли, но слово правды
С ним не умертвили —
Не смекнули, что ринется
С ненавистью ярой
Орел с неба — и расклюет
Гордую тиару.
Нипочем им! Разлетелись
Монахи, бароны,
Точно с пира кровавого
Сытые вороны.
Разгулялись по хоромам,
Даже не вспомнят!
Знай, пируют да порою
«Te deum» затянут.
Все свершили... Погодите! —
Вон над головою
Старый Жижка из Табора
Взмахнул булавою.

Село Марьинское, 10 октября 1845.

НЕВОЛЬНИК

Песни мои молодые,
Те, что в небе реют,
Не вернутся с того света,
Стен не обогреют.
Покинули одиноким
С тобою одною —
Сердцем моим, светом моим,
Раем, тишиною.
Никому мой рай неведом,
Ты сама не знала,
Что звездою путеводной
Надо мной сверкала.
Я гляжу, не налюбуюсь, —
Вот сверкнула снова,
Вот склонилась, уронила
Ласковое слово,
Вот мелькнула, улыбнулась...
Вгляжусь: ночь меж нами;
Проснусь — полно болью сердце
И глаза — слезами.

Спасибо, звездочка! Темнеет
Денек мой хмурый. Вечереет.
Над головой уже трясет
Свою некованую косу
Косарь нещадный — молча скосит
А там — и след мой занесет
Холодный ветер. Все стареет.

Быть может, и тебя овеет,
Брызнувши слезами,
Моя песня. И тихими,
Тихими речами
Ты промолвишь: «Я любила,
Я его любила,
А он не знал». Звезда моя.
На мою могилу
Лейся светом! А я буду
С высоты глядеться,
Воспевая и на небе
Тебя, мое сердце!

Этот бродит за морями
По белому свету,
Ищет счастья — не находит,
Нигде его нету.
Как вымерло! Другой рвется
Из последней силы
За удачей... Вот-вот догнал —
И вразмах в могилу!
А третьему — как нищему,
Ни хаты, ни поля, —
Одна сума. А из сумы
Глядит его доля,
Как ребенок. А он ее
Лает, проклиняет,
За полквартиры пропивает —
Нет, не покидает!
Как речей, что прицепился
К нищенской заплате
И с чужого урожая
Колосья прихватит.
А там — снопы, а там — скирды,
Глядишь — и в палате
Сидит себе побирушка,
Словно в своей хате.
Вот оно какое, счастье:
Не догнать — упрямо,
А полюбит — дастся в руки
С колыбели самой.

В рубахе чистой, отбеленной,
Веселый, в новых сапогах
Сидел на троицын день зеленый
Старик с бандурою в руках,
Седой казак.

«И так и сяк,
И нужно б, — неохота...
А все же нужно. Хоть два года
Пускай по свету он порыщет
И сам судьбы своей поищет,
Как я искал ее... Ярина!
А где Степан?» — «А вон, под тыном
Торчит, как выросший лопух». —

«А мне и невдомек. Эй, друг!
Иди сюда! Идите оба!
Как вам такой припев на пробу?»
И грянул по струнам.
Он играет, а Ярина
Со Степаном в пару.
Он играет, подбавляет
Каблуками жару.

«Кабы мне такое бы горе,
Со свекровью жить да не споря,
Кабы мне да молодой муженек —
От меня б не отходил весь денек.
Ой, гоп, чики-чики!
Кабы новы черевики,
Кабы бубен да цимбалы,
Я бы только и знала,
Молодого обнимала!»

«Ой, гоп, гопака!
Оженили казака.
Он и печь затопил,
И борща наварил».

«А ну, дети, а вот этак!..»
Разобрало старика.
Как ударит, как ушкварит,
Кулаки упер в бока!

«А и то не беда,
Что на грядках лебеда!
Кроши густо
На капусту,
Будет добрая еда.
А вот это — так беда,
Что женили смолодá!
Оженили —
Не спросили —
Не осталось и следа!»

«Нет, не то уж, подкосилась
Бывалая сила.
Утомился. А это вы
Подбавили пыла!
Ах, шут с вами! Эх, годочки

К земле клонят низко!
Пора кушать. Иди, дочка,
Готовь чашки, миски.
Сказать правду, я голоден,
Солнце над стеною,
А ты, сынок, до полуден
Останься со мною.
Садись, браток. Как отец твой
В Польше пал убитый,
Ты после него остался,
Сирота забытый...» —
«Так я, значит, не родной вам?
Я не сын ваш? Боже!» —
«Слушай, милый: вот вскорости
Мать умерла тоже.
Остался ты, я и сказал
Покойной Марине,
Жене своей: «Возьмем его
Себе вместо сына». —
Тебя, значит. Она рада.
Вот вы близнецами
С Яриною и выросли...
А что дальше — сами
Посудите. Ты в возрасте,
И она — все выше.
Надо думать, как жить дальше
Под одною крышей.
Что скажешь ты?» — «Я не знаю...
Я думал, что это...» —
«Что Ярина — сестра твоя,
А оно не это...
Дело просто: если любви,
Можно повенчаться.
Только вот что: нужно раньше
В людях потолкаться.
Приглядеться, как живут:
То ль пашут,
То ль по непаханому сеют
И прямо жнут,
И немолоченое веют,
А что размелют — прямо в рот...
Узнай народ!

Так вот что, малый: нучно в люди
Тебе пойти на год, на два.

Чужая выучит братва.

Тогда и порешим, как будет:

Тому, чья не крепка спина,

И в жизни будет грош цена.

А ты как думаешь, дружище?

Но если хочешь точно знать,

Где легче горем торговать,

То в Сечь иди: там хватит пищи.

Поможет бог — найдешь свой кус.

А мне на вкус

До сей поры тот хлеб не сладок.

Добра добудешь — принесешь,

А не добудешь — проживешь

Моим нажитым. Да повадок

Запорожских наберешься,

Глянешь свет широкий, —

Не таким, как учат в школе,

А живые строки

В синем море прочитаешь;

В честном рукопашье

Богу выучат молиться,

А не по-монашьи

Бормотать под нос. Вот так-то.

Помолимся богу

Да сивого оседлаем,

И айдá в дорогу!

Идем, дружок, полудновать.

Ну, как там? Готово,

Яриночка?» — «Уже, отец!» —

«Вот, сын, мое слово!»

Не естся, не пьется, и сердце не бьется,

И разум затмился, и взор не глядит,

Как будто глухой и незрячий сидит,

Замест куска хлеба за кружку берется.

Ярина глядит и тихонько смеется:

«Что это с ним случилось? Не ест и не пьет.

Уж не разболелся ль? То бледен, то красен».

Она его взгляда ответного ждет —

Глаза он отводит. Старик же — бесстрастен,
Как будто не видит. «Что жать, что не жать,
А сеять-то нужно», в усы рассуждает
Отец про себя. «Ну, пора и вставать!
Быть может, к вечерне еще похромаю.

А ты, Степанко, ляг-ко спать:
Ведь завтра рано надо встать
Да коня седлать».

«Степаночко, голубчик мой!
На что ты в обиде?
Улыбнись мне, усмехнись мне!
Или ты не видишь,
Как горько мне? Растревожил
Тебя насмерть кто-то,
И на меня глядишь так, что
Заплакать охота.
Я убегу, вот увидишь!
Ответь мне, Степанко!
Может, болен? Я достану
С настоями склянку,
Я побегу за бабкою...
Может, глаз чей черный?» —
«Нет, Ярина, мое сердце,
Цветок мой узорный!
Я не брат тебе, Ярина,
Я завтра покину...
Тебя с батькой сиротами...
И навеки сгину.
И меня ты не вспомнешь,
Забудешь, Ярина,
Какой я был...» — «Перекрестись!
Ей-богу, то с глазу!
Я не сестра! Кто ж тогда я?
Он потерял разум!
Что тут делать? Отца нету,
Кого пойду звать я?
А он, видно, в лихорадке —
Совсем без понятия.
Или ты меня дурачишь?
Разве ты не знаешь,
Что умрешь ты — нас с отцом



Старое дерево.

В землю закопаешь?» —
«Нет, Ярина, не умру я,
Я только уеду,
А вернуться — раньше года
Мне не будет следу.
Я вернусь из Запорожья
Женихом, не братом.
Пойдешь замуж?» — «Да чур тебя
Со свахой и сватом.
Шути еще!» — «Не шучу я!
Ей-богу, Ярина,
Не шучу я». — «Значит, правда?
Ты завтра покинешь
Меня с отцом? Ты не шутишь?
Отвечай же, Степа!
Значит, правда — не сестра я?..» —
«Нет, моя зазноба,
Сердце мое!» — «Боже ты мой!
Как же я не знала!
Разве б я тебя любила,
Разве б целовала...
Ой, стыдоба! Отойти же,
Пусти мои руки!
Ты не брат мой, ты не брат мой!
Муки мои, муки!»
И расплакалась Ярина,
Что дитя без груди,
И сквозь слезы причитает:
«Уедет!.. Забудет!..»

Словно явор наклонясь
Над речною кручей,
Степан свое сердце выжжет
Слезую горючей,
Как смолою. А Ярина
Молит, попрекает,
То замолкнет... поцелует,
То вновь зарыдает.
Не видали, как стемнело...
И сестру и брата,
Словно скованных друг с другом,
Застал старый в хате.

И день настал. А Ярина
Не знает покою.
Вот уже Степан выводит
Коня к водопою.
Подхватила ведра, мчится,
Будто и не тужит.
Хозяйствует. В это время
Старое оружие
Отец вынес из чулана.
Глянул, веселеет,
Примеряет. Будто снова
Старый молодеет.
Прослезился. «Сабля моя,
Пика боевая,
Годы мои молодые,
Сила молодая!
Послужи, мое оружие,
Юношеской силе
Той же службой, той же верной,
Что и мне служило».

И Ярина держит саблю,
А Степан седлает
Своего коняку-друга,
Жупан надевает,
И змеею вьется сабля,
И копьё за плечи...
Самопал семипядевый,
Вычищенный, блещет.
Как взглянула — обомлела,
И старик заплакал,
Оглядевши верхового,
Доброго вояку.
Ведет коня за уздечку
И плачет Ярина.
Седой отец идет рядом,
Наставляет сына:
«Нужно честно отслужиться:
Правила держаться,
С товарищами дружить,
В обозе не жаться!
Пускай бог тебе поможет!»

Напоследок стоя,
При словах этих прощальных
Зарыдали трое.
Степан свистнул — пыль вздымилась,
Закрыла дорогу..
«Возвращайся, сын, скорее
К родному порогу!»
Закричал отец сквозь слезы.
Как елка в долине,
Пошатнулась, наклонилась
Без слова Ярина,
Только слезы утирает
Да путь озирает —
Там лишь тень в пыли мелькает
И вновь пропадает.
Будто перекасти-поле
Катится, чернеет,
Будто мошка исчезает,
Только пыль над нею.
И пропала. Долго-долго
Вдаль на ту дорожку
Устремляла взгляд Ярина —
Различить хоть мошку!
Нет, исчезла... Губы сжавши,
Одолев истому,
Пыль слезами орошая,
Повернула к дому.

Проходят дни, проходит лето,
Настала осень; шелестит
Сухой листвою. Не видя света,
Старик на приступке сидит.
Ярина не слышно смеха,
Его единая утеха
Больна. С кем будет век дожить?
Чем старость обогреть? И снова
Он вспомнил сына молодого,
Свои цветущие лета.
Все вспомнил, слезы не сдержавши,
Седой богатый сирота.
Заплату к заплате
На плечи печали нашили летá.

«В твоих руках все на свете,
Свята твоя воля!
Что случится, тому и быть, —
Знать, такая доля».

Подснежником и мятою,
Травой-повиликой
Весна землю одевает
В радости великой.
И солнышко среди неба
Рассиялось смело,
Землю, как жених невесту,
Взглядом обогрело.
И Ярина на свет божий,
Хату покидая,
Выступает улыбаясь —
Слабая такая.
Все ей ново, все ей мило,
Все свежо, как в юность;
Но ножом беда лихая
В сердце повернулась.
И подкошенной травой
Склонилась Ярина,
Словно листья под росой.
Побелели губы.
И отец над ней склонился
Подсеченным дубом.
Ко всем киевским святыням
С мольбой обращалась,
У Межигорского Спаса
Трижды причащалась,
И в Почаеве священном
Рыдала, молилась,
Чтобы счастье со Степаном
Хоть во сне приснилось.
Нет, не снилось... Возвратилась,
Снова забелела
Зима снегом. Новой весной
Степь зазеленела.
Вновь Ярина, кинув хату,
Вышла хорошея,
Но уж не к святым молиться, —
Гадать к ворожее.

Ворожея ворожила,
Заговоры клала,
За три деньги судьбу-счастье
Воском выливала.
«Вон, видишь: конь оседланный
Машет головою.
Едет казак. А вот идет
Старик с бородою.
Это к деньгам. Глянь, сопливый:
Вот бы догадался
Пугнуть деда! А и пугнул.
Видишь вон — забрался
На могилу считать деньги.
Вот он вновь по склону,
Закрыв глаза, идет с сумой,
Чтоб никто не тронул,
Чтоб за ним погоня вражья
Следом не метнулась...»
И веселая с гаданья
Ярина вернулась.

Уж и третье, и четвертое,
И пятое лето
Кончается... Немалый срок,
А Степана нету.
И тропочки-дорожечки
Яром да горою,
Что хожены, ворóжены,
Заросли травою.
И Ярина в монашенки
Косу расплетает,
Старый отец — на коленях,
Просит, умоляет.
Хоть годочек, хоть леточко,
Хоть троицы б дождали!
Дождались и стены хаты
Зеленью убрали,
И мятою, и цветами,
И в рубахах белых
Тихонечко перед хатой,
Как сироты, сели.
Сидят они печальные,
Вдруг слышат: играет

И под тихий ропот кобзы
Кто-то напевает.

«В воскресенье раным-рано
Сине море било;
Казачество кошевого
На кругу просило:
«Разреши ты, атамане,
Парусам подняться,
Чтоб за Тендер прогуляться,
С турком потягаться?..»

Чайки и челны спускали,
Пушками их уставляли,
Из широкого устья днепровского выплывали.

Среди ночи темные,
Среди моря синего
За островом Тендром утопали,
Пропадали...

Один утопает,
Другой выплывает,
Казакам-товарищам из волны тяжелой
Рукою машет, их окликает:
«Пускай вам, товарищи, господь помогает!»
И в волне тяжелой утопает,
Пропадает.

Лишь три челна, слава богу,
Атамана куренного,
Степана молодого,
Сине море не разбило,
В турецкую землю, к нечестивцам,
Без рулей и весел относило.

Тогда сироту Степана,
Казака реестрового,
Атамана молодого,
Турки-янычары имали,
Из-под пушек брали,
В кандалы ковали,
В башню Цареграда заключали,
Тяжелой работой отягчали.
Ой, Спасе наш чудотворный,
Межигорский Спасе,
И лютому ворогу

Не дозволю попасться
В турецкую землю, в тяжкую неволю!
Кандалы там по три пуда,
Атаманам — по четыре,
И света денного не видят, не знают,
Под землю камень ломают,
Без напутствия святого умирают,

Пропадают...

Вспомнил сирота Степан в неволе
Матерь свою Украину,
Неродного батьку седого,
И коника вороного,
И сестру Ярину.

Плачет, рыдает,
Руки к небу воздевает,
Кандалы ломает,
Убегает на вольную волю...
Но на третьем дальнем поле
Турки-янычары его догоняли,
К столбу вязали,
Глаза вырывали,
Горячим железом прижигали.
В кандалы забили,
В тюрьму посадили
И замуровали».

Вот так на улице, под тыном,
Еще не стар, кобзарь стоял
И про неволю распевал.
За тыном слушала Ярина,
И не дослушала — упала...
«Степанушко! Степанушко! —
Рыдала, кричала. —
Степанушко, мое сердце,
Где ты притаился?
Отец! Это же Степан наш
Там остановился!»
Вышел отец за ворота,
Насилу, насилу
Признает его: так горе
Бедного скосило.
«Сыночек мой бесталаный,



Молодой бандурист.

Дитё молодое!
Где скрывался ты на свете?
Что это с тобою?»
Плачет старый, обнимает,
И слепой заплакал,
Точно солнце он увидел
Из вечного мрака.
И берут его под руки
И приводят в хату.
И Ярина ему служит,
Как родному брату.
Голову ему помыла,
И ноги обмыла,
И в сорочке тонкой белой
За стол усадила.
Накормила, напоила
И подушки взбила,
И на цыпочках из хаты
С отцом уходила.

«Нет, не надо, мой батюшка!
Не надо, Ярина!
Я навек веков пропащий,
Я вновь вас покину.
За что ты свой век девичий
Со мною загубишь,
С калекою? Нет, Ярина,
Засмеют нас люди.
Видно, счастье этой хаты
Неугодно богу.
Он от нас его прогонит
К чужому порегу.
Нет, Ярина! Он не бросит.
Ты найдешь другого,
А я уйду в Запорожье
Петь под кобзу снова.
Меня любят...» — «Нет, Степан мой,
Ты мне ближе сына,
И бог тебя покарает,
Если нас покинешь». —
«Оставайся, Степаночко!
Не хочешь венчаться,

Станем жить, как брат с сестрою,
И не разлучаться!
Будем радостью, опорой
Старика седого,
Сердце мое, Степаночко,
Не бросай нас снова!
Не покинешь?..» — «Нет, Ярина».
И Степан остался.
Весел старый, как ребенок,
Вновь за кобзу взялся.
Хочет струнным перебором
Воротить веселье;
На завалинке у хаты
Втроем они сели.
«Расскажи теперь, Степане,
Как беда случилась?
Ведь и мне в плену турецком
Бывать приходилось».

«Вот меня, уже слепого,
Турки выпускали
С казаками... Товарищи
На Сечь отбывали
И меня с собой забрали,
И через Балканы
Торопились на родину
Вольными ногами.
И на тихом на Дунае
Нас перегоняют
Сечевики-запорожцы
И в Сечь возвращают.
И рассказывают, плачут,
Как Сечь разоряли,
Как москали сребро-злато
И свечи забрали.
Как казаки-запорожцы
Ночью отступали
И на тихом на Дунае
Новой Сечью стали.
Как царица по Киеву
С Нечосой гуляла
И Межигорского Спаса

Ночью поджигала,
Как с Днепра на это пламя
Тайно любовалась,
В золотой своей галере
Плыла, улыбалась.
И как степи запорожьи
Тогда поделили,
За панами запорожский
Народ закрепили.
Как Кирилл со старшинами
В парики влезали
И царицыны сапожки,
Словно псы, лизали.
Как поляки все забрали,
Кровь повыпивали,
А солдаты самый воздух
В цепи заковали.
Вот что было. Тяжко, батько,
От своего дому
Уходить — просить защиты
К нехристю чужому.
Теперь будто Головатый
Остатки собирает,
На Кубань их подбивает,
Черкеса пугает.
Пускай ему бог поможет.
А что с того будет,
Святой знает: послушаем,
Что расскажут люди».

Вот так они каждодневно
Вдвоем до полночи
Рассуждают, а Ярина
Хозяйкой хлопочет.
Хлопотала и вздыхала
Да святым молилась.
Умолила. Перед постом
Они поженились.

Вот и конец моей песне.
Не дивитесь, люди:
То, что было, миновало

И снова не будет.
Пересохли мои слезы,
Не бьется, в обиде,
Сердце старое, черствеет,
И очи не видят.
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой,
Ни темного леса,
Ни девической улыбки,
Ни красы ребячьей
Я веселыми не вижу:
Все гибнет, все плачет.
Я и рад бы где укрыться,
Только где? — не знаю.
Всюду горе, всюду стонут,
Бога проклинают.
Сердце вянет, каменеет,
И не носят ноги.
И устал я, одинокий,
На своей дороге.
Оттого кричу, как ворон,
На злую примету:
Солнце тучею покрылось,
И не видно свету.
Еле-еле к полуночи
Сердцем успокоюсь
И болезненную миру
Посылаю повесть.
За живой водой и мертвой
Ворон улетает;
Иногда ее добудет,
Сердце окропляет.
И зажжется огонечек,
С темнотою споря,
И начнет рассказ про счастье,
А свернет на горе.

Вот и нынче про слепого
Мне рассказ кончает,
А свести концы с концами
Как складней — не знает.

Так как не было на свете
Этакого дива,
Чтоб жена с незрячим мужем
Прожила счастливо.

А вот случилось это диво:
Год, другой на убыль —
Вот они в саду друг с дружкой,
Радостны и любы.
И старик — отец счастливый —
Перед светлым домом
Учит маленького внука
Вежливым поклонам.
Село Марьинское, 1845.

БАТРАЧКА

В воскресенье раным-рано
Поле крылося туманом,
И стояла во тумане,
Словно тополь на кургане,
Молодица молодая.
Что-то к сердцу прижимая,
Причитала, горевала:

«Ой, туман да во поле,
Моя горькая доля!
Что меня ты не схоронишь
Средь чистого поля?
Что меня ты не задавишь
Да в землю не вдавишь,
Почему моей недоле
Веку не убавишь?
Ой, душить меня не надо,
Лучше спрячь подале,
Чтоб никто не знал, не ведал
Про мои печали.
Не одна я — родители
Остались в хате...



Село Потоки.

Есть еще... Туман мой милый,
Туманушка, братик!
Сыночек есть — кровиночка,
Не крещен доселе.
Без меня тебя окрестят,
Вынут из купели!
Без меня тебя окрестят —
Будешь жить с чужими!
Не узнаю я — какое
Дали тебе имя.
Не кори меня! Молиться
Буду дни и ночи.
Долю выплачу у бога
Для тебя, сыночек!..»

И пошла просторным полем —
Плакала, рыдала,
За туманом хоронилась,
Сквозь плач напевала,
Как вдова в Дунай широкий
Сыновей кидала:

«Ой, в степи, у кургана,
Раным-раненько-рано,
Там вдова всё гуляла,
Яду-зелья искала.
Яду-зелья не нашла,
Двух сыночков родила,
В китаечку повила
Да к Дунаю отнесла:
— Тихий, тихий Дунай,
Моих деток забавляй!
Уж ты, желтенький песок,
Накорми ты их разок,
Накорми да и укрой —
Моих деток успокой!..»

Жили-были дед да баба
С давнего-давня в лесочке, над прудом.
Тихонечко на хуторе жили:
Мирно, честь по чести,
И повсюду вместе.
Еще сызмальства вместе овец пасли,
А потом поженились,
Скотинкой разжились,
Сбили мельницу, хутор, вырыли пруд
И сад вишневый развели,
И ульев два десятка,
И всякого достатка.
Да только без детей скучали,
А смерть уж близко — за плечами!

Кто же старость их приветит,
Вместо сына станет?
Кто на всем на белом свете
Души их помянет?
Кто, живя добром и правдой,
В тихий час покоя
Старикам спасибо скажет,
Как дитя родное?
Ой, с детьми куда как тяжело
В нетопленной хате!
Но тяжеле состариться



Крестьянский двор.

В высоких палатах.
Срок придет — закроют очи,
Вынесут из хаты.
Чужим людям останется
Добро на растрату.

Однажды, на святой неделе,
В садочке старики сидели
В рубахах праздничных своих.
Глядело солнышко на них
С безоблачного неба. Тихо
Все было, словно бы в раю.
Но схоронилось в сердце лихо,
Как лютый зверь в нору свою.

И чего бы, казалось,
На старости надо!..
То ли давняя доука
Завернула в хату,
То ли горе вчерашнее
По сердцу хватило,

Или новая кручина
Его опалила?

Не ведаю, что за тревога
Их души старческие жжет!
То ль собрались они до бога?
Да кто в далекую дорогу
Коней им добрых запряжет?
«А кто нас, Настя, похоронит,
Когда умрем?..» И бабка стонет:
«Век об этом горевала,
Да уж тошно стало!
Состарились одиноки...
Ой, кому набрала
Столько доброго?» — «Чу, слышишь,
Будто плачет кто-то?
Словно бы дитя грудное...
Выйдем за ворота!
Разузнаем, что такое!..»
И разом схватились
Да к воротам... Прибегают
И остановились:
У самого перелаза,
Прибрано, обмыто,
Лежит дитя, спелёнуто
И свиткой укрыто.
Видно, мать запеленала
Да еще прикрыла
Одежонкою последней!
Видно, ох, любила!
Старики творят молитву,
А подкидыш плачет,
Ручки выпростал, сердечный.
Просит, — не иначе, —
О помощи... Малюсенький!
Вдруг умолк, захныкал,
Да так жалобно... «Настасья!
Что стоишь? Гляди-ка!
Вот и счастье, вот и доля,
Вот и старость в доле!
Только чур! Как бы не сглазить!
Ты оглохла, что ли?

Неси в хату! Время ехать
Мне за кумовьями
В Городище».

Ой, неладно
Деется меж нами!
Один сына проклиняет,
Гонит-выгоняет;
Другой свечечку, сердечный,
В церкви покупает
Да, рыдаючи, становит
Перед образами:
Нет детей! Ой, как неладно
Деется меж нами!

Аж три пары на радостях
Кумовьев набрали,
Да тут же и окрестили
И Марком назвали.
Растет Марко. Старики же
Прямо ног не чувят:
И целуют, и милуют,
Пестуют, балуют.
Год прошел... Растет наш Марко.
И в хлеву корова —
Не корова, загляденье.
И вдруг черноброва,
Молода и белолица
Пришла молодица
На тот хутор благодатный
В батрачки проситься.

«Что ж, возьмем ее, Настасья!» —
«Да возьмем, пожалуй.
Мы уж старые — хвораем,
А дитёнок малый,
Хоть и вырос за годочек,
А всё ж таки просит
И ухода и заботы...» —
«Знамо дело, просит!
Да и я на свете пожил —
Поел хлеба-соли.

Ну, так как же, молодлица,
Столкуемся, что ли?
Сколько за год?» —

«Что дадите!» —

«Э, не дело, дочка!
За труды, как говорится,
Денежки на бочку.
Ведь кто денег не считает,
Тот не разживется.
Слушай, дочка, вот как сделать
Нам с тобой придется:
Поживи у нас маленько,
Оглядишься в хате,
Попривыкнем мы друг к дружке,
Вот тогда и плату
Я тебе назначу...» —

«Ладно!» —

«Так иди же в хату!»

Сговорились. Молодица
Весела да рада,
Словно с паном повенчалась —
Сделалась богата.
И в саду и в огороде,
На дворе и в хате —
Спозаранку и до ночи,
А вокруг дитяти,
Словно мать, ну так и ходит:
И в будень и в праздник
Головушку ему моет
И сорочки разны
Каждый день ему меняет,
В тележке катает
И баюкает. А в праздник
И с рук не спускает.
Старики мои дивятся —
И как не дивиться!
А батрачке несчастливой
По ночам не спится:
Плачет, долю проклинаят,
Мается, горюет.

И никто того не знает,
Не видит, не чувствует,
Кроме маленького Марка,
Да и тот не знает,
Почему она слезами
Его умывает.
Он не знает, за что она
Так его милует,
Сама не съест и не допьет,
Его побалуует.
Ой, не знает он, как в зыбке
Среди темной ночи
Вдруг проснется, ворохнется,
А она подскочит
И укроет, перекрестит,
Зыбку поколышет...
Она слышит из той хаты,
Как он в этой дышит.
Поутру к батрачке Марко
Ручки стирает
И мамою неусыпну
Ганну называет.
Ничего не знает Марко —
Растет-подрастает!

Немало лет с тех пор минуло,
Воды немало утекло,
И в хутор горе завернуло
И слез немало принесло.
Бабусю Настю схоронили
И еле-еле отходили
Трофима-деда. Расцвело
Дурманом лихо и завяло.
На хутор снова благодать
Вернулася, как и бывало,
К Трофиму в хату почивать.

Уже Марко чумакует
И осенью не ночует
Ни за хатою, ни в хате, —
Значит, надо девку сватать!

А какую? Дед гадает
И умного слова
У батрачки просит. Ганна
Хоть к царю готова
Засылать сватов...

«А Марко?

Знает он об этом?» —

«Что ж! Узнает...»

Кличет старый

Марка за советом.
Посудили, порядили,
Да и за сватами
Пошел Марко. Вернулись
Люди с рушниками,
С святым хлебом обменным
И девку в жупане
Уж такую высватали,
Что хоть и за пана,
И то не срам! Вот какую
Кралю раскопали!

«Спасибо вам! — старый молвит. —
Знать, не прогадали!
Надо округ мне объехать,
Чтобы знали люди,
Когда свадьба... Да еще вот:
Кто ж матерью будет?
Не дожила моя Настя!»
И старик слезами
Залился... А у порога,
Ухватясь руками
За косяк, батрачка Ганна
Нежива стояла...
«Кто же матерью-то будет?»
Бедная шептала.

Через семь дён молодицы
Каравай месили
На хуторе. Старый батька
Из последней силы

С молодницами смеется
Да двор выметает,
Да проезжих и прохожих
К себе закликает:
Пива-меду не жалеет
Да на свадьбу просит.
Аж танцует. Самого ж
Еле ноги носят.
Всюду сутолока, хохот,
А солнышко светит
Да глядит, как жбаны тащат
Из дубовой клетки.
Всюду чистят, выметают:
Готовят застолье...
Всё чужие! Где ж батрачка?
Ой, на богомолье
Пошла Ганна. Просил старый,
Марко даже плакал,
Чтоб она за мать осталась.
«Не могу я, Марко!
Для меня ли честь такая?
Вы — знатные люди,
Я — батрачка! Над тобою
Все смеяться будут.
Пусть господь вам помогает!
Пойду, помолюся
Всем святым в Печерской лавре
И опять вернуся
В вашу хату, коль примете!
Пока хватит силы,
Потружуся...» Поклонилась
И благословила
Тихо Марка. Заплакала,
Пошла за ворота.

Развернулось пиrowанье,
Музыке работа
И подковкам. От горилки
Все хмельным-хмельные...
А батрачка ковыляет,
Поспешает в Киев.

Вот пришла — не отдохнула,
У мещанки стала,
Нанялася носить воду:
Денег-то не стало —
На молебен нехватило!
Носила, носила,
Собрала пятиалтынный
И Марку купила
Черну шапочку в пещерах
Ивана святого,
Чтобы хвори не касались
Марка молодого.
Перстенечек у Варвары
Невестке достала
И, всем святым поклонившись,
Пошла-зашагала...

Вот и хутор. Катерина
С Марком выбегают
За ворота. И встречают
И за стол сажают.
Накормили, напоили,
Про всё расспросили
И в горнице, как родную,
На ночь уложили.

«За что они меня любят?
За что почитают?
О, боже мой милосердный!
Может, они знают?
Может, они догадались?
Нет, не догадались —
Просто добрые!..»

И Ганна
Тяжко разрыдалась.

Трижды речка замерзала,
Трижды лед ломала,
Трижды Ганну Катерина
В Киев провожала.
И в четвертый раз с батрачкой
Вышла на дорогу,



В Киеве.

Проводила до кургана
И молила бога,
Чтоб скорее возвращалась:
Без нее-то хата,
Как без матушки родимой,
Темна, скучновата.

Уже и лето пролетело...
Вот как-то в праздник дед Трофим
Сидел в своей сорочке белой
На солнцепеке... Перед ним
С собакой внучек забавлялся,
А внучка, в юбку нарядясь
Длиннющую, как будто шла
К Трофиму в гости. И, смеясь,
Старик девчурку привечал,
Как будто вправду молодицу:
«Куда ж ты дела паляницу?
Иль, может, кто в лесу отнял?»

Иль, попросту, забыла в клети,
А может, и не испекла?
Э, разве так живут на свете!..»
Глядь, а в калитку-то вошла
Батрачка. Дед бежит приветить
С внучатами свою Ганну.
«А Марка все нету?»
Ганна спрашивает тихо.
«Нету даже следу!..» —
«А я еле доплелася,
Прямо через силу.
Не хотелось на чужбине
Мне сходить в могилу.
Хоть бы Марка-то дождаться!..
Дюже плохо стало!..»
И внучатам из котомки
Гостинцы достала:
И крестики и медальки,
Еще пузыречек
С святой водой и фольговый
Красный образочек.
Карлу — пеструю свистульку
Да лошадок пару.
И уже четвертый перстень
От святой Варвары
Катерине. А Трофиму
Из воска литого
Три свечечки. Для себя же
И для молодого
Ничего не захватила —
Денег не достало.
Заработала б, да хвори...
«Тут еще осталось
Полбубличка!»

По кусочку
Детям разделила.

Вошли в хату. Катерина
Ноги ей обмыла
И полдничать посадила —
Да не тут-то было!

Не пила, не ела Ганна:
«Катря, я забыла,
Когда у нас воскресенье?» —
«Послезавтра!» —

«Надо
Отслужить молебен, дочка,
Святому Николе.
Что-то Марко задержался!
Не остался б в поле.
Захворает, спаси боже!..»
И слезы ручьями
Из глаз ее замученных
Потекли. Руками
Опершись на стол, привстала:
«Ой, не та я стала!
Ослабела, все хвораю, —
Трудно, вишь, подняться.
Тяжко, Катря, в чужой хате
С жизнью расставаться!»

Захворала, сердечная.
Уж и причащали,
И соборовали даже, —
Нет, не помогало!
Старый дед темнее тучи
По подворью ходит.
Катерина же с болящей
И очей не сводит.
Катерина у болящей
Днюет и ночует...
А тем часом сычи в ночи
Недоброе чуют
Да вещуют. Болящая,
Как родного сына,
Марка ждет и все пытается:
«Сердце, Катерина!
Что, наш Марко не приехал?
Ох, как силы слабы!
Если б знала, что дождуся,
То подождала бы!»

Идет Марко с чумаками,
Идет распевает,
Не торопится до дому,
Волов не стегает.
Везет Марко Катерине
Сукна дорогого,
А для батьки шитый пояс
Шелку расписного.
А батрачке на очипок
Парчи золоченой
Да турецкий полушалок
С каймою зеленой.
А деточкам черевики,
Фиг да винограду.
А всем вместе душистого
Вина из Царьграду
Три ведра везет в бочонке
Да икорку с Дону.
Всего везет и не знает,
Что дается дома.

Идет Марко и не тужит.
Пришел, слава богу!
И ворота отворяет
И молится богу.
«Ты не слышишь, Катерина,
Знать, приехал кто-то...
Это Марко! Встречай, дочка,
Беги за ворота!
Слава тебе, спасителю,
Как легко-то стало!..»
И молитву тихо-тихо,
Как сквозь сон, шептала.

Волов старый выпрягает,
Палки вынимает
Из ярма. А Катерина
Марка обнимает.
«Где же Ганна, Катерина?
Жива ли, здорова?» —

«Ой, жива, да только, Марко,
Дюже нездорова!
Поскорей идем, родимый,
Пока выпрягает
Отец волов... Она тебя
Давно поджидает».

Вошел Марко к Ганне в хату
И стал у порога —
Испугался... Ганна шепчет:
«Слава, слава богу!
Иди сюда, не пугайся!
Ты, Катруся, выйди.
Надо с Марком мне остаться,
Уж не будь в обиде!»

Вышла тихо Катерина,
А Марко, убитый,
Наклонился к изголовью.
«Марко, погляди ты,
На меня взгляни, голубчик, —
Что со мною стало!
Я не Ганна, не батрачка,
Я...»

И замолчала.
Марко плакал... А батрачка
Вновь очи открыла,
Долго жалобно глядела
И заголосила:
«Прости меня! Я с тобою
Весь век как чужая.
Прости меня, мой сыночек!
Я... твоя... родная...
Мать...» Замолкла.

Марко слушал.

И земля дрожала.
Опомнился да к матери, —
А ее не стало!

Переяслав, 1845.

КАВКАЗ

Искреннему моему Якову де-Вальмену

Кто даст главе моей воду,
И очесем моим источник слез,
И плачуся и день и ночь
о побиенных...

Иеремия, глава 9, стих 1

За горами горы, тучами повиты,
Засеяны горем, кровию политы.

Спокон века Прометея
Там орел терзает,
Что ни день, то ребра рушит,
Сердце разбивает.
Разбивает, да не выпьет
Той живучей крови;
Снова сердце оживает
И смеется снова.
Не умрет наш дух мятежный,
Не умрет и воля.
Ненасытный не распашет
На дне моря поля.
Не скует души свободной
И слова живого!
Не отдаст на поношенье
Господа святого.

Не нам, Господь, с тобою спорить.
Не нам дела твои судить —
Нам только плакать в лютом горе
И хлеб насущный замесить
Кровавым потом и слезами.
Мудруют палачи над нами,
А правда наша крепко спит.
Когда ж она пробудится
И когда, о боже,
Ты приляжешь утомленный,
Дашь нам отдых тоже?
Все мы верим твоей силе.
В светлый час свободы
Встанет правда, встанет воля!
В мире все народы
Одного тебя восславят

Во веки и веки,
А покуда — льются реки,
Кровавые реки.

За горами горы, тучами повиты,
Засеяны горем, кровию политы.
Вот там-то милостивы мы,
И ненакормлену и голу,
Застукали, загнали волю
И травим... Полегла костьюми
Людей несчитанная сила.
А слез? А крови? Напоить
Всех императоров хватило б!
С детьми их вместе утопить
В слезах сиротских... А стыдливых
Девичьих, тайных, молчаливых?
А материнских жарких слез,
Отцовских, старческих, кровавых?

Не реки — море разлилось!
Пылающее море! Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям!
Слава!

И вам слава, сини горы,
Одетые льдами;
И вам, рыцари святые, —
Бог да будет с вами!
Боритесь — поборете
Во славу народа.
С вами доблесть, с вами правда,
С вами и свобода!

«Чурек и сакля — все твое, —
Не прощено и в дар не взято.
Никто не примет за свое,
Не доведет до каземата.
А мы? На то учены мы,
Читаем божии глаголы
И от глубокой от тюрьмы
До высочайшего престола
Все ходим в золоте — и голы.
В науку к нам! Уж мы сочтем,

Почем наш хлеб и соль почем!
Мы христиане: храмы, школы,
Богатства все, сам бог у нас...
Нам только сакля очи колет:
Зачем она стоит у вас,
Дана не нами? Почему
Мы ваш чурек да вам не кинем,
Как псам? За солнце и за тьму
Зачем платить вы не повинны?
Мы не язычники поганы,
Мы истинные христиане, —
Мы сыты малым! А за то,
Когда б вы с нами подружились,
То многому бы научились.
Уж ежели пошло на то,
Земли у нас — неисчислимо:
Одна Сибирь неисходима!
А тюрем? А люду? Что считать!
От молдаванина до финна,
На всех языках все молчат:
Знать, благоденствуют.

У нас

Святую библию толкует
Святой чернец и повествует,
Как царь свиней когда-то пас,
Да отобрал жену у друга,
Убил его и стал святым.
А мы досель гордимся им!
Что делать, — мыслите вы туго.
Народ слепой, неумудренный,
Святым крестом не просвещенный!
Учитесь-ка! У нас дери,

Дери и дай —

И прямо в рай!

И хоть родню всю забори!
У нас... чего мы не умеем?
Считаем звезды, гречку сеем,
Браним французов, водку пьем,
За долг картежный отдаем
Людей... не негров, а таких,
Как мы, крещеных... но простых.
Мы не плантаторы, не станем

Во горюхъ горы агарого повести
Да идемъ горюхъ кровю помыти.

Отинитъ то тило стыкии мле
Не касодовицу и сому
Воступили сердешну волю
Ема и пудило. илго похитили
Моден муштуровали въ тилано.
А селю, се кровю? не помыти
Всиль Императоровъ бы стило
Во дитъ мле и вачура мле вто тиле
Во селюхъ удовице. а дивоси до
Трошотиле до тиле по селюхъ мле!
А мле тиле до селюхъ до селюхъ!
А Битъковы до стире до кровюхъ до
Не ризи. мле ризи мле
Осиль мле! селюхъ! селюхъ!
~~Воступили мле помыти и тиле~~
И ^{моши мле} ~~мле~~ Битюхъ мле селюхъ
Селюхъ.

И во мле селюхъ селюхъ
Кровюхъ окути.

Мы краденое покупать,
Как торгаши... Мы по закону!»

По закону апостола
Вы любите брата?
Суесловы, лицемеры,
Господом прокляты!
Не душа, а только шкура
Вам нужна на брате!
Вот и лупите нещадно:
Дочери на платье,
Детям прижитым на свитки,
Жене на' браслетки,
А на что себе — не знают
Ни жена, ни детки.

За кого ж ты мўки принял,
Христе, сыне божий?
За нас, грешных, иль за слово
Истины? Иль, может,
Над тобой чтоб мы смеялись?
Так оно и случилось!

Часовни, храмы, и иконы,
И фимиама сладкий дым,
И перед образом твоим
Неутомимые поклоны —
За кражу, за войну, за кровь
(Чтоб кровь пролить, об этом просят!),
И в дар потом тебе приносят
Добытый в грабеже покров.

Просветились! Теперь жаждем
Все науки эти,
Эти истины поведать
Слепым, видишь, детям.
Всё покажем! Только дайте
Власти нам поболее:
Как острог для темной голи
Выстроить, и как в неволе

Кандалы носить и даже
Не стонать от боли.
Всё покажем! Только дайте
Свои сини горы
Остатние... Ибо взяты
И поля и море.

И тебя загнали, друже мой единый,
Яков незабвенный! Не за Украину,
За ее тирана довелось пролить
Кровь твою живую, довелось испить
Из царевой чаши царевой отравы!
Друже мой любимый, друже нелукавый!
Светлой душой по Украине витай,
Летай с казаками по-над берегами,
Взрытые курганы в степи озирай,
Заплачь с казаками частыми слезами,
Меня из неволи к себе поджидай

А покуда — мои думы,
Мое горе злое
Я посею; пусть возрастает
Семя непустое.
Тихий ветер с Украины
Понесет с росой
К тебе, к тебе мои думы...
Братскою слезою
Ты их встретишь, на них глянешь,
Ты читать их станешь...
И курганы, степи, море
И меня вспомянешь.

Переяслав, 1845.

Проходят дни, проходят ночи,
Проходит лето; шелестит
Листва сухая; гаснут очи,
Заснули думы, сердце спит,



Карикатура на помещика Родзянко.

И все заснуло. И не знаю,
То ль я живу, то ль доживаю,
То ль так по свету волочусь:
Не плачу, да и не смеюсь...

Доля, где ты? Доля, где ты?
Никакой не чую!
Если доброй жалко, боже,
Дай хоть злую, злую!

Что ж мне спать-то, ходячему,
И не просыпаться?
Что гнилою колодою
На земле валяться?

Дай мне жить всем сердцем, боже,
К людям дай любви!
А нельзя — пошли хоть гнева,
Ненависти, крови!



Карикатура на помещика Закревского.

Страшно жить в цепях тяжелых,
Умирать в неволе,
А еще страшнее, братья,
Спать и спать на воле
И заснуть на вечны веки,
Не оставив следу
Никакого: что ж такого? —
Ну, жил, ну, и нету!

Доля, где ты? Где ты, доля?
Никакой не чую!
Если доброй жалко, боже,
Дай хоть злую, злую!

Вьюница, 1845.

Как умру — похороните
На Украйче милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу.
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он — вот тогда я
Встану из могилы.
Поднимусь я и достигну
Божьего порога,
Помолиться. А покуда —
Я не знаю бога.

Схороните и вставайте,
Цепи разорвите
И горячей вражьей кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым, тихим словом.

Переяслав, 1845.

Ой, одна я, одна,
Как былиночка в поле!
Не послал мне господь
Ни счастья, ни доли.
Одарил он меня
Карими очами,
Потускнели и те
В девичьей печали.

Ой, ни братика я,
Ни сестрички не знала,
Меж чужими росла,
Выросла — завяла.
Где ж ты, милый мой друг,
Где добрые люди?
Нету их... Я одна!..
Друга и не будет.

Петербург, в каземате, 1847.

Мне, право, все равно — я буду
На Украине жить иль нет,
Меня вспомнят иль забудут
В снегах, в далекой стороне, —
До этого нет дела мне.

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плача, я умру
И всё с собою заберу.
Следа я не оставлю ныне
На нашей славной Украине,
На нашей — не своей — земле.
Родной отец не скажет сыну
О том, как я в неволе жил:
«Молился, сын: за Украину
Когда-то он замучен был».

Мне все равно, молиться будет
Тот сын иль нет... И лишь одно,
Одно лишь мне не все равно:
Что Украину злые люди,
Лукавым убаюкав сном,
Ограбят и в огне разбудят...
Ох, это мне не все равно!

Петербург, в каземате, 1847.

«Зачем ты ходишь на могилу? —
Ей мать с тоскою говорила. —
Довольно слезы проливать!
Не спится почему опять
Моей голубке сизокрылой?» —
«Так, мама, так!..»

И уходила.

А мать не уставала ждать.

Не сон-трава на могиле
В ночи расцветает,
То калину на могиле
Невеста сажает,
И слезами поливает,
И господу просит,
Чтоб послал дожди ночные,
Обильные росы,
Чтоб калина принялася,
Цвела пышным цветом.
«Может, прилетит, как пташка,
Милый с того света!
Совью гнездо я милому
Над самой могилой.
Прилечу, и защебечем
На калине с милым,
Защебечем да поплачем
Тихими слезами.
На тот свет летать мы станем
Ранними утрами...»

И калина принялася,
Ветви распустила.
И три года на могилу
Невеста ходила.
На четвертый... Не сон-трава
В ночи расцветает,
То с калиною невеста
Говорит, рыдает:

«Широкая, высокая
Калина моя,



Каменные бабы в степи.

Не водою ключевою
Ты политая!
Широкие реки-слезы
Тебя по́лили,
Люди славою лукавой
Тебя до́няли.
Обижают подруженьки
Подругу свою,
Обижают румяную
Калину мою.
Надо мною встань и свежей
Росою умой
И ветвями широкими
От солнца закрой.
Поутру меня увидят,
Меня засмеют,
Широкие твои ветки
Дети оборвут».

Утром рано на могиле
Пташка щебетала.
Под калиною невеста
Спала — не вставала.

Утомилась молодая,
Навек опочила...

Рассвет вставал из-за могилы.
Все поднялись. Одна лишь мать—
Еще и спать не собиралась:
Она слезами обливалась
И дочь не уставала ждать...

Петербург, в каземате, 1847.

Н. КОСТОМАРОВУ

Играя, солнышко скрывалось
В весенних тучках золотых.
Гостей закованных своих
Тюремным чаем угощали
Да часовых переменяли,
Синемундирных часовых.
И с дверью, накрепко закрытой,
С решеткой на моем окне
Немного свыкся я... И мне
Не жалко было пережитых,
Давно схорóнных, забытых,
Моих кровавых, тяжких слез,
А их немало пролилось
В пустое поле! Хоть бы рута,
А то ни травки не взошло!
И вспомнил я свое село...
Кого со мною разлучили?
Отец и мать мои в могиле...
И грустью сердце запеклось:
Никто меня не вспоминает...
Вдруг вижу, брат: твоя родная
Старуха-мать, черней земли,
Идет, едва-едва шагает...
И стал я господу хвалить,
Хвалить его я буду снова
За то, что нё с кем мне делить
Мою тюрьму, мои оковы!..

Петербург, в каземате, 1847.

Вишневый садик возле хаты,
Хрущи над вишнями снуют,
С плугами пахари идут,
Поют, идя домой, дивчата,
А матери их дома ждут.

Семья собралась возле хаты,
Звезда вечерняя встает,
И дочка ужин подает,
А мать журила б, да куда там!
Ей соловейко не дает.

Мать уложила возле хаты
Ребятюк маленьких своих,
Сама заснула возле них.
Затихло всё... Одни дивчата
Да соловейко не затих.

Петербург, в каземате, 1847.

В неволе тяжко, — хоть и воли
Вовек мне видеть не пришлось;
Но кое-как тянул, — жилось
Пусть на чужом, а все на поле...
Теперь и той сиротской доли
Молить у бога довелось.
И жду ее, и уповаю,
Дурной свой разум проклиная,
Что дался дурням обдурить
И в тине волю утопить.
Озноб берет, как вспоминаю:
Вот тут меня и закопают, —
Не на Украине буду жить,
Людей и господа любить.

Петербург, в каземате, 1847.

Сойдемся ль мы, как прежде, снова?
Иль нас ничто уж не сведет?
Любви святой и правды слово
В степях и рудниках умрет?
Пускай и так!.. Не мы виною,
Что наш союз расторгнут тьмою.
То — воля господа. Терпеть!
Молитесь, веры не теряя,
Друг другу братски помогая
Свою Украину жалеть,
Любить ее... и в пытке лютой
И даже в смертную минуту
О ней молиться и скорбеть!

Петербург, в каземате, 1847 — Москва, 1858.

Ой вы, думы мои, думы!
Свет вы мой единый!
В тяжкий час не покидайте
Меня на чужбине!
Прилетайте, голубята,
Стаей сизокрылой
Из-за светлых вод днепровских,
С Украины милой.
Погуляйте у киргизов
На степном раздолье;
Хоть они бедуют лихо,
Так зато на воле.
Прилетайте ж поскорее!
Тихими речами
Приласкаю вас, как деток,
И заплачу с вами.

Орская крепость, 1847.



Автопортрет (1848—1849 годы).

Солнце заходит, горы темнеют,
 Пташечка молкнет, поле немеет.
 Людям — отрада, расправят спину,
 А я улетаю, крылья раскину,
 В темный садочек на Украину.
 Горестным сердцем к нему припадаю.
 В сладкой печали думу гадаю.
 Поле уснуло, в сумрачном своде
 Кротко звезда одинокая всходит.
 Чистой слезою, тихим сияньем
 Светишь иль нет ты уже на Украине?
 Так же ли карие очи встречают
 Лаской тебя, иль уже забывают?
 Если забыли, ждаль перестали, —
 Про мою долю чтоб и не знали.

Орская крепость, 1847.

N. N.

Тогда мне лет тринадцать было,
 За выгоном я пас ягнят.
 И то ли солнце так светило,
 А может, просто был я рад
 Нивесть чему. Все походило
 На рай небесный...

Уже давно на полдни звали,
 А я в бурьяне, в тишине,
 Молился богу, и едва ли
 Хоть раз еще на свете мне
 Так сладко, радостно молилось,
 Так душу чистую влекло;
 Казалось, стадо и село
 И даже небо веселилось,
 И солнце грело — не пекло.
 Да недолго солнце в небе
 Ласковое было:
 Поднялось, побагровело,
 Зноем опалило.

Осмотрелся, как спросонок:
Земля постарела.
Божье небо голубое —
И то потемнело.
На ягнят я оглянулся —
Чужие ягнята.
Оглянулся я на хату —
Нет у меня хаты.
Ничего господь мне не дал!..
Горький и убогий,
Я заплакал... А дивчина
У самой дороги,
От меня неподалёку,
Посконю тягала;
Услыхала, что я плачу,
Пришла, приласкала,
Слезы вытерла мальчонке
И поцеловала...
 Лучи другие засияли,
 И снова небо, степь и дали
 Моими стали. Мир был мой,
 И мы, шутя, смеясь, погнали
 Чужих ягнят на водопой.

Чудно! А вспомню — и сегодня
Тоска наполнит грудь мою,
Что не пришлось в таком раю
Жить век по милости господней.
Пахал бы я родные нивы,
Ни дум, ни мук бы я не знал —
Не слыл бы в мире юродивым,
Людей и бога б не проклял.

Орская крепость, 1847.

Не греет солнце на чужбине,
А дома чересчур пекло;
И там жилось мне тяжело,
На славной нашей Украине,

И сам я ласки избегал,
Ее не зная; понемногу
Писал, бродил, молился богу
Да злое барство проклинал;
И в памяти моей всходили
Жестокой старины года, —
Христа повесили тогда,
И нынче бы его казнили!
Невесело в краю чужом;
И дома весело не будет.
Повсюду добрые есть люди!
Но все ж хотелось бы (да в том
Что проку!), чтоб в краю суровом
Стесать солдаты не могли
Мне гроб из дерева чужого,
Чтобы хоть горсточку земли
Сюда из-за Днепра святого
Святые ветры принесли.
Ну, вот и все! Хотелось, люди,
Чтоб было так... Да что гадать!
Не стоит бога утруждать,
Когда по-нашему не будет!

Орская крепость, 1847.

Когда мы были казаками,
Еще до унии, тогда
Как весело текли года!
Поляков звали мы друзьями,
Гордились вольными степями,
В садах, как лилии, цвели
Дивчата, пели и любились...
Сынами матери гордились,
Сынами вольными... Росли,
Росли сыны и веселили
Глубокой старости лета...
Покуда именем Христа
Пришли ксендзы и запалили
Наш тихий рай. И потекли



Лагерь в степи.

Моря большие слез и крови,
А сырых именем христовым
Страданиям крестным обrekli.
Поникли головы казацьи,
Как будто смятая трава.
Украйна плачет, стонет, плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач лютует,
А ксендз безумным языком
Кричит: «Te deum! Аллилуйя!..»

Вот так, поляк, мой друг и брат мой,
Несытые ксендзы, магнаты
Нас разлучили, развели;
Мы и теперь бы рядом шли.
Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое подай!
И снова именем Христовым
Возобновим наш тихий рай.

Орская крепость, 1847 — Москва, 1858.

ЧЕРНЕЦ

На Киевском на Подоле
Не вернуть бывалой доли...
То, что было, приключилось,
То навеки позабылось.
Позабылось... А я, братцы,
Буду, взоры напрягая,
До былого добираться.
Сердце горечью терзая.

На Киевском на Подоле
Казацкая наша воля,
Без холопа и без пана,
Ни пред кем не клонит стана;
Стелет бархатом дороги,
Вытирает шелком ноги,
Сама собой управляет
И путей не уступает!

На Киевском на Подоле
Казаки гуляют;
Словно воду, цыбарками
Вино разливают.
Погреба с вином, с медами
Откупили всюду
И устроили гулянье
Киевскому люду.
А музыка гремит, стонет —
Мертвых с места стронет.
Из окошек на веселье
Бурса чубы клонит.
Нету голой школе воли,
А то б удружила!..
Кого ж это с музыкою
Толпа окружила?

В штанах атласных, яркочерных,
Мотню по пыли волоча,
Идет казак. Ох, лёта, лёта,
Все вами спето!.. Скрипача!
Старик ударил каблуками,

Аж пыль пошла столбом. Вот так!
Еще и подпевал казак:

«По дороге рак, рак,
Пускай будет так, так!
Если б нашим молодцам
Сеять один мак, мак!
Бей землю каблуками,
Дай ходу каблукам,
Достанется и носкам!
Чтоб под теми каблуками
Пыль ходила облаками,
Бей землю каблуками!
Дай ходу каблукам,
Достанется и носкам!»

До Межигорского Спаса
Шел вприсядку сивый,
А за ним и все казаки —
И весь честной Киев.
До ворот дошел танцуя,
Крикнул: «Пугу! Пугу!
Принимайте, черны рясы,
Товарища с Лугу».
Монастырские ворота
Перед ним открылись
И опять с железным лязгом
Навек затворились.
Кто же этот поседельный
В битвах да в несчастьях?
Семен Палий, казак, вздумал
С волей попрощаться.

Ой, высоко солнце всходит,
Низенько заходит!
В длинной рясе седой чернец
По келии бродит.
Идет чернец на Вышгород
Поглядеть со взгорья
На раскинувшийся Киев,
Забуть свое горе.
Цедит монах Звонковую
Ключевую воду —



Кос-Арал.

Вспоминает тяжелую
Жизнь свою, невзгоду.
И опять вернется в келью,
Под немые своды,
Перебирать веселые
Молодые годы.
Священное писание
На голос читает...
А мыслями монах седой
Далеко летает...

И тихнут божии слова,
И в келии, как будто в Сечи,
Свобода давняя жива;
И гетман, белый, как сова,
Очами в очи ищет встречи...
Музыка, танцы и Бердичев,
Оковы брякают... Москва...
Леса, снега и Енисей...
И покатались из очей
На рясу слезы. Бей поклоны,
Плоть стариковскую смирай,
Писанье божие читай
Под монастырские трезвоны,
А сердцу воли не давай.

Оно тебя в Сибирь водило,
Весь век твой ходуном ходило,
Сдави ж его и забывай
Свою Борзнú и Фастовщину...
Исчезнет все; пройдет, как сон;
Пройдешь — и не оставишь тени.

Так думалось ему, и чтение
Прервал глубокий горький стон.
Ходил по келии, ходил
И тяжело на скамью склонился:
«Зачем же я на свет родился,
Свою Украíну любил?»

Уж колокол луженой глоткой
Завыл к заутрене; он встал,
Тяжелой двинулся походкой,
Надел клобук и посох взял...
Перебирать с молитвой четки
За Украíну пошагал.

Орская крепость, 1847 — Москва, 1858.

ПЛАТОК

Или это божья воля?
Иль такая ее доля?
Юность внаймах протомилась,
С сиротою полюбилась.
Он, как тихий голубь, с нею,
С горемычною своею.
От звездочки до звездочки
Сидят себе у вдовушки,
Сидят себе, мечтают
Да свадьбы ожидают.
Дождались... С Чигирина
По всей славной Украíне
Раздается клич стозвонный,
Чтоб седлали хлопцы коней,
Сабли острые точили,
На гулянку выходили,

На веселое гулянье,
На кровавое свиданье.

В воскресенье да с первой зорькою
Сурмы-трубы заиграли.
В поход, в путь-дорогу славны компанейцы
До рассвета выступали.
Расставалась вдовушка с сыном,
Со своим сыном с единым.
Расставалась сестра с своим братом,
А с любимым сиротина.
Расставалась, коня напоила
До похода, до восхода,
Славу боевую — саблю золотую —
Вынесла к походу.
Шла-проводжала три поля, три мили,
Прощалась при долине,
Подарила шелком вышитый платочек,
Чтоб вспоминал на чужбине.

Ой, платок ты мой, платочек,
Шелковая нитка!
Вот и вся казачья слава —
На седло накидка!

Вернулась печальная,
Глядит в дорогу дальнюю...
Томилась, ожидала,
Венок себе сплетала,
Ходила утром рано —
Не видно ли с кургана?

Год прошел, другой проходит,
Вот и третий минет...
Возвращаются казаки
В свою Украину.
Вот идет за войском войско,
А за третьим тихо —
Не гляди туда, родная, —
Везут твое лихо:
Гроб раскрашенный проносят,
Китайкой покрытый,
А за ним идет начальство,



Слепая.

Идет в черной свите
Сам полковник компанейский,
Характерник Сечи.
За ним идут есаулы
И плачут идущи.
Несут паны-есаулы
Славу боевую:
Панцырь, надвое разбитый,
Саблю золотую,
Три ружья несут казацких
И три самопала...
На оружии казацком
Кровь повысыхала.
Ведут коня вороного,
Разбиты копыта...
А на нем лежит седельце,
Платочком покрыто.

Орская крепость, 1847 — Нижний-Новгород, 1858.

А. О. КОЗАЧКОВСКОМУ

В дни детства памятные, в школе
Стащу, бывало, у дьячка
Пятак, куплю исподтишка
(Ведь я был совершенной голью!)
Бумаги, и тетрадь сошью,
И обведу тетрадь свою
Узорами, и в этой раме
Перепишу Сковороду,
А то и «Трех царей с дарами»,
И за деревней, на краю,
Чтоб не увидели, украдкой,
Лежу в траве, лежу с тетрадкой,
Лежу и плачу и пою.

И вот на старости опять
Пришлось в траве мне хорониться
И петь, и плакать, и страницы
Стихами тайными марать.
И я не знаю, не за то ли
Меня господь карает так,

Чтоб до седин я пробыл в школе
И умер дураком дурак, —
Что в школе я украл пятак
И провинился поневоле?!

Козачковский, сокол ясный,
Голубь мой невинный,
О, как маюсь я, несчастный,
В ссылке на чужбине!
Как от глупого юродства
Дней своих остаток —
От напасти виршеплетства
Береги ребяток.
Если ж свалится на шею
Это наказание,
Засади писать в чулане
Сына-грамотея.
Чтобы бог не знал про это,
Чтоб и ты не видел,
Чтоб твой сын потом бел-света
Не возненавидел.
Пусть моя вам будет мука
Навсегда наукой.

Как вор какой-то, в тиши воскресной
Я вверх взбираюсь на поляну.
Взберусь — и на простор окрестный
Взгляну и над Уралом стану.

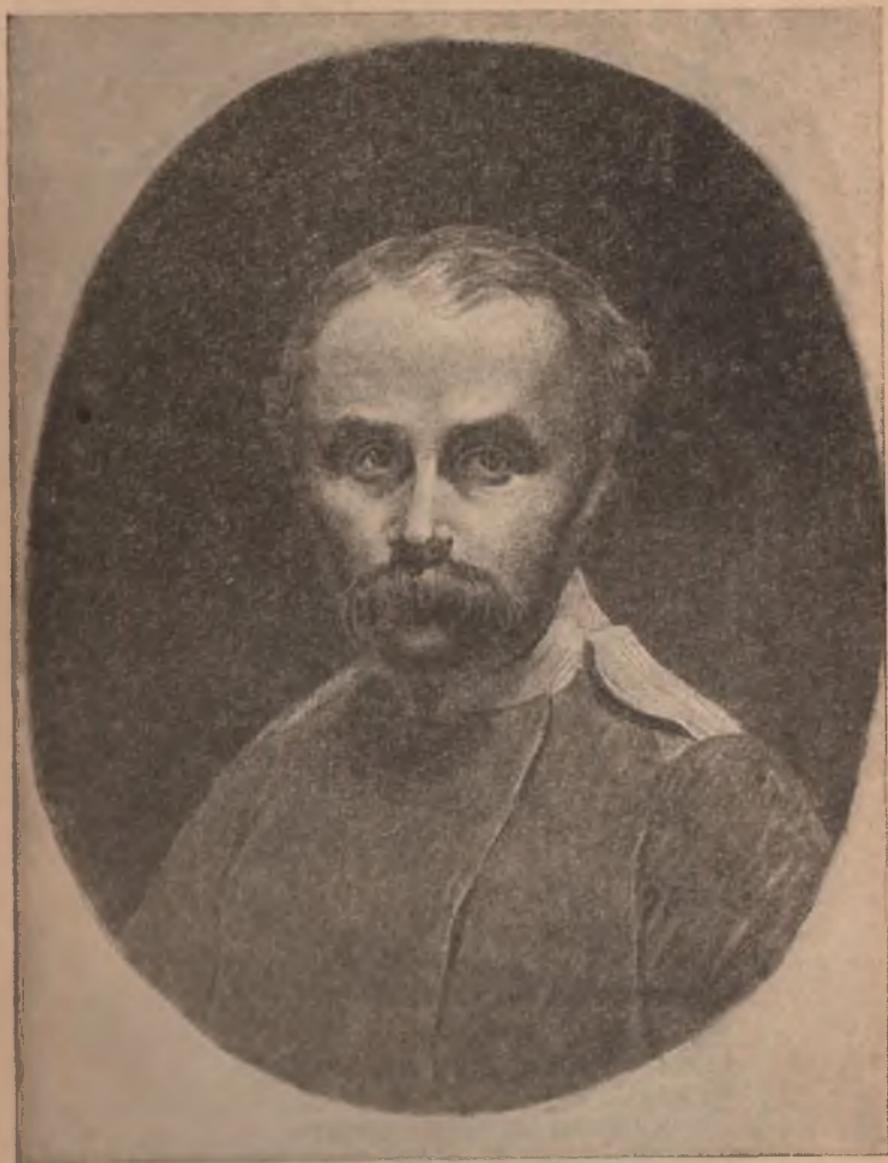
Как играющая рыбка,
Сердце встрепенется,
Озарит лицо улыбкой,
Тихо усмехнется.
И, голубкою порхая,
Позабудет горе,
И тогда я оживаю
В поле на просторе.
И всхожу я на вершину,
Стану, озираюсь,
Вспоминаю Украину,
Вспомнить не решаюсь.
Степь и тут и там, но эта
Изжелта-багрова,

Наша ж светится все лето
Синевой покрова.
И ее луга и нивы,
Древние курганы
Блещут вышивкой красивой,
Скатертью браной.

А здесь пески да лебеда,
И хоть бы жалкий след преданья
В каком-нибудь глухом кургане!
Но нет, людей тут ни следа.
Веками пряталась пустыня
От взора нашего доныне.
Но вот открыт ее предел.
Мы строим крепости, форпосты,
А значит, будут и погосты, —
Восполним как-нибудь пробел...

О горе, горе, мой край пригожий!
Когда ж я вырвусь домой отсюда?
Ужели ты попустишь, боже,
Что здесь и погребен я буду?
И почернеют огни заката...
Айда в казарму! Айда в темницу!
Далеким окриком солдата
Простор окрестный огласится.
И вновь украдкою, усталый,
Бреду кустарником Урала.

Так воскресенье в этом крае,
Мой друг сердечный, я справляю.
А понедельник? Милый брат!
Настанет ночь в избе вонючей,
И мысли налетят, как тучи,
И сердце бедное лишат
Того, во что душою всею
Я верю и назвать не смею,
И в доме воцарится ад,
И остановится течение
Часов, и, глядя в этот мрак,
Не раз я, милый друг, в мученье
Слезами омочу тюфяк.



Автопортрет (пятидесятые годы).

И, перебрав всю жизнь доселе,
Я как бы спрашиваю тьму:
Кого любил я в самом деле?
Что сделал доброго кому?
Ужели никому на свете?
Да, никого я не любил,
Как будто дни и годы эти
Один я по лесу бродил.
А было время, чуял силы...
Да я их, видно, не берег.
Душа на барщине изныла,
А жилы вымотал острог.

Не помогут сожаленья:
Жизни нет возврата.
Не бывает повторенья
Бывшего когда-то.

«Пошли рассвет!» молю я бога,
Восхода солнца не дождусь.
Сверчок стихает понемногу.
Бьют зóрю. Снова я молюсь,
Чтоб вечер наступил скорее,
Затем, что скоро дуралея
С утра на крепостной редут
Опять на муштру поведут,
Чтоб бросил вольные рацеи,
Чтоб знал, что дурней всюду бьют.

С годами молодость уходит.
Надежда снова за свое:
Меня в неволе за нос водит.
Я искушения ее
Боюсь, как прелести бесовской.
А вдруг и правда наяву
До лучших дней я доживу?
Опять напьюсь воды днепровской,
Опять войду в твой тихий дом,
С тобой наговорюсь вдвоем...
Но, испугавшись, что сглажу,
Боюсь об этом думать даже.

Суждено ли нам свиданье,
Иль с небес, не ране,
И тебя и Украину
Взором я окину?
Грудь такой тоскою стянет,
Что и слез не станет!
И когда б не ты да синий
Днепр крутоберёгий,
О скорейшей бы кончине
Попросил я бога.
Ты да родины левады —
Только и преграды.

Орская крепость, 1847 — Москва, 1858.

Говорят, если привыкнет собака
за возом бегать, побежит и за
санями.

Я только нынче так пишу:
Бумагу да чернила трачу...
А прежде, право, не брешу, —
Найду чего иль что утрачу —
Так запою, что аж заплачу.
И в тот же миг перенесусь
В родимый край — на Украину,
Сквозь слезы гляну, подивлюсь,
Добром со встречным поделюсь
И думу черную отрину.
Все так же я ее люблю,
И день и ночь о ней гадаю
И никого не проклиная
За все, что ныне здесь терплю.
Ей богу, братья, всем прощаю
И только господа молю,
Чтоб вы меня не осуждали...
Хоть я вам лиха не чинил,
А все-таки меж вами жил, —
Так, может, что-нибудь осталось...

Орская крепость, 1847.

А ну, начнем-ка вновь писать!
(Тишком, конечно.) Станем снова,
Пока еще цела основа,
Старье былое лицевать.
Ну, то есть, как бы вам сказать,
Чтоб не соврать?.. Начнем-ка снова
Людей и долю проклинать!

Людей, чтоб они нас знали
Да нас уважали;
Долю, чтобы не дремала,
Нас оберегала.
А то, глянь, что натворила:
Кинула беспечно
На распутье сиротину.
Ну, а он, сердечный,
Маленький да седоусый,
Известно, мальчонка!
Он побрел себе тихонько
Чужую сторонкой
За Урал. И очутился
В пустыне, в неволе...
Как тебя не проклинать мне,
Лукавая доля?
Нет, я клясть тебя не стану,
А скроюсь, безвестен,
За холмами, да и буду
Складывать там песни,
Да, тоскуя, стану ждать я
В гости к нам, в неволю,
Из-за Днепра широкого
Тебя, мою долю!

Орская крепость, 1848.

Ой, гляну я, погляжу я
Да на степь, на поле —
Не пошлет ли мне всевышний
Хоть на старость воли?



Варвара Николаевна Репнина.

Я прибрел бы на Украину,
Подошел бы к дому;
Там бы, верно, были рады
Старому, седому.
Там бы я душой и телом
Отдохнул, оттаял,
Там бы... Только понапрасну
Я этого чаял.
Как прожить в неволе лютой,
Надежды не зная?
Добры люди! Научите,
Иль сойду с ума я!

Орская крепость, 1848.

Добро, коль есть на свете хата,
А в хате той — твоя сестра
Иль мать родимая... Добра,
Добра того, святой отрады,
Не присудил, не дал мне бог,
И жил я — всем чужой — как мог.

Все ж довелось под старость мне
В чужой, далекой стороне
Заплакать, что один я, сирый,
Что нет мне хаты в целом мире.

Мы долго в море пропадали,
Пришли в Дарью, на якорь встали;
С Ватаги письма принесли,
И все, читая, замолчали.
А мы с товарищем легли
И потихоньку рассуждали.
Я думал: где б того добра —
Письмо иль матерь — взять на свете?
«И ты — бобыль?» — «Есть женка, дети,
И мать, и хата, и сестра,
А писем нет...»

Кос-Арал, 1848.

П[ЕТРУ] С[КОРОПАДСКОМУ]

Не зло обидно: возле злого
Молва настороже стоит;
А речь про доброго такого,
Что и молву-то одурит.

Доселе тошно, как припомню
Готический с часами дом,
Село убогое кругом;
Завидя флаг, мужик снимает
Скорей шапчонку: значит, пан
С своею челядью гуляет.
Такой откормленный кабан —
Распутный знатный этот пан!
Он гетмана-глупца потомок,
Завзятый, ярый патриот,
Христианин — чуть не с пеленок!
Он в Киев ездит каждый год,
В сермяге ходит меж панами,
В шинке пьет водку с мужиками
И вольнодумствует порой.
Вот тут он весь перед тобой.
Да на селе своем дивчаток
Перебирает, да спроста
Пригульной ребятни с десятков
Окрестит за год... Срамота!
Он подлецом и был и будет.
Зачем же он иным слывет?
Зачем никто не наплюет
Ему в глаза?.. О люди, люди!
Готовы вы родную мать
За ломтик колбасы продать.
Нет, не на доброго такого,
На пьяного Петра кривого, —
Моя обида на людей,
На тех юродивых детей!..

Кос-Арал, 1848.

ПРОРОК

Господь, как праведных детей,
Любя и милуя людей,
Послал на землю к ним пророка —
Святую правду возвестить
И мир любовью осветить.
Как Днепр свободный и широкий,
Слова священные текли,
И в душу падали глубоко,
И пламенем незримым жгли
Сердца продрогшие. Любили
Того пророка, и ходили
За ним, и ползали в пыли
Духовно сирые... Но скоро
Они святой закон с позором
Растлили... И чужим богам
Лукаво жертвы воскурили,
А правдолюбца — горе вам! —
Камнями яростно побили.
И праведно господь великий,
Как на зверей свирепых, диких,
Железы повелел ковать,
Темницы смрадные копать —
На вас, о род слепой, жестокий! —
И вместо кроткого пророка
Царя-тирана к вам послать.

Кос-Арал, 1848 — Петербург, 1859.

И сонные волны, и мутное небо,
На берегу в далекой мгле
Камыш, как бы навеселе,
Без ветра гнется. Боже! Где бы
Разведать — долго ль, долго ль мне
В моей незапертой тюрьме,
Над никудышным этим морем
Тоской томиться, мыкать горе?



Ночь на Кос-Арале.

Молчит засохшая трава,
Лишь гнется, будто бы жива.
Не хочет правду мне открыть...
А больше некого спросить.

Кос-Арал, 1848.



И рос я в дальней стороне
И не на родине седею.
Но все же думается мне,
Что лучшей не найду нигде я
Земли, чем берега Днепра,
Где отцвело казачье племя.
Известно: ищем мы добра
Там, где нас нет... В плохое время,
Недавно как-то, привелось
Проехать мне краями теми,
В то распрекрасное село,
Где в зыбке мать меня качала
И жалкий грош ночным трудом
На свечку богу добывала;

Пречистой ставила потом,
Молилась и поклоны била,
Чтоб доля добрая хранила
Ее сынка... Теперь, наверно,
Когда б давно не умерла,
Она бы бога прокляла
За мой удел.

Ужасно скверно
Всё в распрекрасном том селе.
Нуждой придавлены к земле,
Блуждают люди. А когда-то
Густые, высохли сады,
Подгнили, покосились хаты,
Бурьяном заросли пруды;
Село как будто погорело,
А люди, словно одурели, —
Немые на страду идут
И деток за собой ведут.

.
И я заплакал и назад
Поехал снова на чужбину.

И не в одном селе — везде
И всюду в славной Украине
Паны лукавые людей
Впрягли в ярмо. И гинут, гинут
Свободных рыцарей сыны.
А распоганные паны
Ростовщикам, друзьям хорошим,
Несут последние штаны.

.
Постыдно, страшно и погано
В пустыне этой пропадать.
Еще страшнее на Украине
Все видеть, плакать и молчать.

А кто не видит злого лиха,
Так для того все гладко, тихо
И счастлив и богат народ,
И меж горами Днепр течет,
Овеян славою старинной,

Красуется, любитесь
На всю Украину,
И цветут и зеленеют
Привольные села,
А в веселых этих селах
И народ веселый...

Верно, так бы все и стало,
Если б не осталось
Следу панского в Украине!

.....
Кос-Арал, 1848.

И богата я,
И красива я,
Только друга не найду я —
Несчастливая!

Тяжело на свете жить,
Никого не любить,
Шелк заморский, бархат рытый
Одинокой носить!

Повстречалась бы я,
Обвенчалась бы я
С чернобровым сиротою, —
Только воля не моя!

Батка-матка не спят,
Всё глядят-сторожат,
Не пускают молодую
Даже в сад погулять!

А хоть пустят, так с ним —
С оканным, седым,
С моим нелюбом богатым,
С моим ворогом злым!

Кос-Арал, 1848.

* * *

Ой, наточу товарища —
Да за голенище,
Да пойду искать я правды
И доли почище.
Ой, пойду я не лугами
И не берегами,
А пойду я не путями,
А по-над путями!
И скажу я кабатчику,
Богатому пану,
И шляхтичу поганому
В поганом жупане,
И монаху, коль случится, —
Пускай не гуляет,
Жития святых читает,
Людей поучает:
Чтоб друг друга не резали
И не обирали
Да в солдаты сына вдовья
Чтоб не отдавали.

Кос-Арал, 1848.

* * *

Куковала кукушечка
В зеленом лесочке.
Заплакала девчоночка —
Нет у ней дружочка.
А девичьи молодые
Годы пропадают,
Как цветочки за волною,
Плывут, уплывают.
Были б мать-отец родные
Да были б богаты,
Было б с кем и погулять мне,
Было б кому сватать.



Из цикла «Притча о блудном сыне». Закованные в кандалы.

А то нет, и одинокой
Так вот я и сгину
Горемыкой сиротиной
Где-нибудь под тыном.

Кос-Арал, 1848.

* * *

Как у той у Катерины
Мощенная хата.
Приехали запорожцы,
Три друга, три брата:
Один — Семен Босый,
Другой — Иван Голый,
Третий — славный вдовиченко
Иван Ярошенко.
«Изъездили Польшу
И всю Украину,
А такой мы не встречали,
Как ты, Катерина!»

Один молвит: «Други!
Казну бы мне в руки,
Отдал бы я все богатство
Этой чернобровой
За одно лишь слово».

Второй молвит: «Братья!
Кабы сильным стать мне,
То отдал бы я всю силу
Этой чернобровой
За одно лишь слово».

Третий молвит: «Дети!
Нет того на свете,
Чего я не мог бы сделать
Ради этой чернобровой
За одно лишь слово».

Подумала, отвечает
Ему Катерина:

«Запропал в неволе вражьей
Братец мой единый.
Кто из Крыма, из неволи,
Брата мне достанет,
Тот мне, хлопцы-запорожцы,
Милым другом станет».

Разом повставали,
Коней оседлали,
Чтоб скорей вернуть с чужбины
Брата Катерины.

Один утопился
В Днепровском заливе,
Другого в Козлове
На кол посадили,
Третий — славный вдовиченко
Иван Ярошенко —
Из лихой неволи,
Из Бахчисарая,
Брата выручает.

На заре, заре негромко
Постучались в хату.
«Вставай, вставай, Катерина,
Иди встречать брата!»
Посмотрела Катерина
И заголосила:
«То не брат мой — то мой милый!
Всех я одурила». —
«Одурила?!» — И до долу
Девичья скатилась
Головушка. «Идем, друже,
Из поганой хаты».
Поскакали запорожцы,
Два друга, два брата.

Катерину молодую
В поле закопали,
А славные запорожцы
В степи побратались.

Кос-Арал, 1848.

Ой, чего ты почернело,
Зеленое поле?
«Почернело я от крови
За вольную волю.
Вкруг местечка Берестечка
На четыре мили
Меня группами своими
Кзаки покрыли.
А еще меня покрыло
Воронье с полночи —
Клюет очи казацкие,
А группов не хочет...
Почернело, зеленое,
Я за вашу волю.
Я опять зазеленею,
А уж вам-то боле
Не вернуться из неволи, —
Вам судьба иная:
Вам пахать меня в оковах,
Долю проклиная».

Кос-Арал, 1848.

Я в орешничек ходила
По орехи,
А мельника полюбила
Для потехи.
Мельник мелет, решетует —
Обернется, поцелует
Для потехи.

Я в березничек ходила
По опятки,
А шорника полюбила
Без оглядки.



Из цикла «Притча о блудном сыне». Перед наказанием шпицрутенами.

Шорник сбрую зашивает,
Меня любит — обнимает
Без оглядки.

По валежничек ходила
Я дубровой,
Бондаря я полюбила
Черноброва.
Бондарь ведра набивает,
Меня к сердцу прижимает,
Черноброву.

Если хочешь правду знати,
Моя мати,
Кого на́перво ты зятем
Будешь звати, —
Ой, всех, ой, всех, моя мама,
В воскресенье ты зятьями
Будешь звати.

Кос-Арал, 1848.

Как на зореньке да ранёшенько,
Еще солнышко не всходило,
А я, молода-младёшенька,
На дороженьку
Невеселая выходила.
Выходила я раным-раненько,
Чтобы мать не знала,
Молодого того
Чумака своего
Выходила — встречала.

Ой, встретилась я
За теми лозами
Да с чумацкими возами.
Идут через доли
Волы невесёлы,
Крутят головами.

Молодого того
Чумака моего
Нету за волами.

Ой, копали ему в степи при дороге
Да притыками яму,
Завернули его в чистую рогожу
И спустили Ивана.
На кургане на том глубокая
Черная могила.
Ой, боже милый, милый, милосердный,
А я так его любила!

Кос-Арал, 1848.



Протоптала стёжечку
Через яр,
Через гору, миленький,
На базар.
Продавала бублики
Казаку,
Радовалась выручке —
Пятаку.
Четыре копеечки
Пропила,
За одну дударика
Наняла.
Ой, ду-ду, дударик мой,
Ой, ду-ду!
Я руками горюшко
Разведу.
Вот какая девка,
Да не твоя!
Сватай меня, миленький,
Выйду я!

Кос-Арал, 1848.

• •
И широкую долину,
И высокую могилу,
И тот вечер соловьиный,
И что снилось, говорилось —
Не забуду я.

Да что с того? Мы расстались,
Словно вовсе не встречались.
Зря лишь годы дорогие,
Наши годы молодые
Мимо протекли.

Мы состарились с тобою:
Я — в неволе, ты — вдовою.
Не живем, а доживаем,
Только годы вспоминаем,
Что давно ушли.

Кос-Арал, 1848.

• •
В огороде возле брода
Барвинок не всходит.
И дивчина что-то к броду
За водой не ходит.
В огороде возле тына
Сохнет на тычине
Хмель зеленый. Не выходит
Из дому дивчина.
В огороде возле брода
Верба наклонилась.
Загрустила черноброва,
Сильно загрустила.
Плачет, плачет и рыдает,
Как рыбонька бьется...
А над ней, над молодою,
Недруг злой смеется.

Кос-Арал, 1848.

И снова мне не привезла
Ни слова почта с Украины!
Знать, за греховные дела
Караюсь я в моей пустыне
Сердитым богом. Нет, не мне
Об этом знать, за что караюсь.
Зачем и знать об этом мне?
А сердце плачет, вижу снова
Дни невеселого бывшего
В той невеселой стороне,
В моей Украине. — надо мною
Они когда-то пронеслись...
Там люди в дружбе мне клялись,
Братались, сестрились со мною,
Потом, как туча, разошлись,
Не окропясь слезой святою.
И довелось снова мне
Людей на старости... Нет, нет!
В холеру все поумирали,
А то хотя б клочок прислали
Бумаги той...

• • • • •
Ой, с досады да с печали,
Чтоб не видеть как читают
Эти письма, погуляю.
Погуляю по-над морем
Да развею свое горе,
Украину вспоминая
Да песенку напевая.
Люди злые, люди сгубят,
Она ж меня приголубит,
Приголубит да уважит
И всю правду мне расскажет.

Кос-Арал, 1845.

Не домой идя в полночь
Из знакомой хаты
И не спать ложась, мой милый,
Вспомяни меня ты!
А когда придет невзгода,
Просидит до света,
Вот тогда меня ты вспомни,
Попроси совета!
Вот тогда про друга вспомни:
Далеко, над морем,
Как он мается в неволе,
Как он бьется с горем,
Как, свои он злые думы
И души тревогу
Схоронив, в пустыне бродит,
Молится всё богу,
Об Украине вспоминает,
О тебе, сердечный,
И грустит порой... не сильно
И без слез, конечно,
А так только... На дворе ведь
Праздник наступает...
Тяжело тому, кто праздник
Без друзей встречает,
На чужбине! Завтра рано
Благовест раздастся
По Украине... Завтра рано
Станут собираться
Люди в церковь... Завтра рано
Заревет голодный
Зверь в пустыне да подует
Ураган холодный
И завет белым снегом
Мой курень печальный...
Вот как встречу я наш праздник
На чужбине дальной!

Ничего! На то и лихо,
Чтобы с ним бороться.



Из цикла «Притча о блудном сыне». Наказание колодника.

Ты же, друг мой незабвенный,
Ежели взгрустнется,
Перечти посланье это —
Весть о дальней доле.
Знай — одно на свете страшно:
Это жить в неволе.
Да и там живут, хоть плохо...
А как быть — не знаю.
Умереть бы — так надежда,
Друг, не умирает!

Кос-Арал, 1848.

Зачем буду я жениться,
Зачем обручаться?
Надо мной, женатым, будут
Кзаки смеяться.
«Оженился, — они скажут, —
Голодный да голый;
Загубил он, неразумный,
Молодую волю!»
Да и правда! Что ж мне делать?
Научите, люди!
Или к вам итти батрачить?
Или лучше будет?
Нет, чужих волов не буду
Пасти, загонять я,
Ублажать не буду тещу
Я в хозяйской хате.
А буду я красоваться
В голубом жупане
На коне своем буланом
Перед казаками.
Найду себе чернобровку
В степи при долине —
Высокую могилушку
На той Украине.
А как выйдут на ту свадьбу,
На гулянье люди

Да вынесут самопалы,
Выкатят орудье,
Как понесут товарища
В новую светлицу, —
Застрекочат самопалы,
Грянут кременницы.
Как положат атамана
В новой хате люди,
Словно мать, рыдая, будет
Завывать орудье,
Закричит, запричитает
О погибшем сыне,
Разнесет далеко славу
По всей Украине.

Кос-Арал, 1849.

Ой, вскричали серы гуси
За селом, во рву;
Разнеслась по свету слава
Да про ту вдову.
Не так слава, не так слава,
Как тот разговор,
Что заехал запорожец
Ко вдове на двор.
Веселились — пировали,
Пили мед-вино,
А потом закрыли шалью
В горнице окно.
Не пустой была та слава,
Недаром прошла:
По весне вдова-молодка
Сына принесла.
Сильным выходила хлопца,
В школу отдала,
А подрост, коня купила,
Не коня — орла.
Оковала чистым златом
Седельце ему,

Шелком вышила по краю
Светлую кайму.
Затянула стан жупаном
Красным, дорогим,
На коника посадила:
«Дивитесь, враги!»
Проводила удалого
Сынка вдоль села,
Привела его к обозу,
В войско отдала,
А сама в престольный Киев
В монастырь ушла.

Кос-Арал, 1849.

И в самых радостных краях
Не знаю ничего красивей,
Достойней матери счастливой
С ребенком малым на руках.
Бывает иногда: смотрю я,
Любуюсь ею, и печаль
Охватит сердце вдруг. Мне жаль,
Мне больно за нее. Тоскуя,
Пред нею голову склоню я,
Как перед образом святым
Марии, матери прекрасной,
Что в мир наш бога принесла...

Ей все легко теперь, все любо!
Она в ночи не спит, встает,
Свое богатство стережет.
И только ночь пойдет на убыль —
Она опять над ним, и губы
Любовно шепчут: «Вот он, вот...
Мой сын...» И за него с тревогой
Молитву посылает богу.
На улицу выходит с ним,
По улице идет царицей,
Перед людьми добром своим,



Киргиз на коне.

Сокровищем своим гордится:
Мол, краше всех и лучше — мой!
И если кто на сына глянул,
Нет большей радости! Домой
Приносит своего Ивана
И думает, что все село
Ее лишь сыном любовалось.
Она ушла — и все ушло,
И ничего там не осталось.
Счастливая...

Года проходят,
И дети взрослые уходят,
Кто в ту, кто в эту сторону:
На заработки, на войну.
А ты осталась сиротою.
Одна ты, хвора, и плеч
Укутать нечем. Стынет печь,
Нетопленная по неделям,
И встать не можешь ты с постели.
Но всё — и думы, и мечты,

И все твои молитвы к богу —
За них, за сыновей...

А ты,
Другая мать, глухой дорогой
Бредешь, боясь глаза поднять,
Великомученица-мать;
Несешь дитя, от всех скрывая.
Ведь пташка малая любая,
И та увидит — и поймет:
«Вон девушка свой грех несет».

Бесталанная! А где же
Та краса былая,
Что все люди любовались,
Дивчину встречая?
Все взяло дитя родное!
Из села в позоре,
Бесприютная, идешь ты
На стыд и на горе.
Сторонятся все при встрече,
Как от прокаженной.
А сынок — такой он малый,
Такой несмышленный.
И когда еще он скажет,
Когда пролепечет
Слово «мама» — великое
Слово человечье.
Подрастешь — ему расскажешь,
Как была дивчиной,
Как тебя панич лукавый
Обманул да кинул...
Не надолго легче станет,
Срок не за горами —
В люди сын уйдет мальчонкой
Бродить со слепцами.
А тебя оставит нищей,
Чтоб собак дразнила,
Да еще ругаться будет —
Зачем породила
Да зачем в трудах и в горе
Кормила, растила...

Но, навеки засыпая
Где-нибудь под тыном,
Нежным словом материнским
Помянешь ты сына...

Кос-Арал, 1849.

В день пасхальный, на припёке
Крашенки катая,
Щебетали ребятишки
Воробьиной стаей
Про обновки. Тому к пасхе
Рубашку пошили,
А другому на базаре
Сапожки купили.
Кому шапку из мерлушки,
Кушачок пунцовый,
Кому свитку... Лишь сиротка
Одна без обновы,
В рукава забрав ручонки,
Сидит молчаливо.
«Мне отец привез подарок...» —
«Мамка мне купила...» —
«А нам крестная сорочку
Сама вышивала...» —
«А мне поп калачик подал!»
Сиротка сказала.

Кос-Арал, 1849.

Иль самому мне написать
Себе послание в отраду
И в нем по правде рассказать
Про все, что надо и не надо?
Дождешься разве тут его,
Того писания святого,
Святой любви и правды слова!..



В киргизской юрте.

Да мне и ждать-то — от кого?
А ведь, казалось бы, пора:
Уж десять лет, считай, уплыли,
Как людям дал я «Кобзаря», —
Видать, им крепко рот зашили!
Ну, хоть бы гавкнул кто, кляня!
А то, как не было меня.
Не похвалы, — я не об этом,
Жил без нее и обойдусь, —
Науки жду себе, совета.
Ведь так и с миром распрощусь,
А мудрой вести не дождусь!
Бывало, помню, сердце млело,
Ах, боже милый, как хотелось,
Чтоб кто-нибудь пришел, сказал,
Как брату брат, чтоб я узнал:
Зачем пишу? Кому радею?
За что Украину так люблю?
Иль понапрасну мучусь ею?
Ведь оттого я и седею,
А все не знаю, что творю!

Пишу, как тлею, без услады,
Чтоб время одолеть кой-как.
И все мне, грешному, казак
Мерещится — седой, усатый,
В раздолье блещущем степном
На черном скакуне своем.
А больше ничего не знаю,
Хоть я за то и пропадаю
В краю далеком и глухом.
Судьба ли так определила?
Иль худо бога мать молила,
Как понесла меня? — что я
Томлюсь, как лютая змея,
Растоптанная в поле сжатом,
Недвижно ждущая заката.
Томлюсь, седею и терплю
И смерть в песках бескрайних чаю,
А за кого, за что — не знаю!
И все-таки ее люблю,
Мою Украину — свет далекий,
Хоть потому и одинокий,
Хоть в ней приюта не нашел
И до гибели дошел.

Что ж делать, друже, не журися!
Всего себя в броню закуй,
Получше богу помолися,
А на друзей таких... наплюй!
Они ж солома, а не люди.
Так брось печалиться, забудь их!
Коли не дурень — сам решай,
Своим умом соображай.

Кос-Арал, 1849.

Мне золотую, дорогую
Свою судьбу совсем не жаль,
Не жаль мне долю молодую.
А все же иногда печаль
Найдет такая, что заплачу!

Когда еще, к тому впридачу,
Мальчонку встречу на селе —
Былинкой малой средь полей
Он одинёшенек под тыном
Сидит себе в старье холстинном —
И мнится мне, что это я,
Что это молодость моя!
И мнится мне: в суровой доле
Он не увидит вольной воли,
Священной воли... И вот так —
Напрасно — прахом пролетят
Все лучшие его года.
Нигде не сыщет он привета
И, побродив по белу свету,
Пойдет батрачить... Ну, а тут, —
Чтоб он не плакал, не грустил,
Чтоб где-нибудь пристроен был, —
Его в солдаты отдадут.

Кос-Арал, 1849.

.....
Мы вместе некогда росли:
Гуляли вместе, песни пели,
И матери на нас глядели
И меж собою речь вели
О свадьбе нашей...
Тщетны были
Надежды. Старики в могиле,
А мы с подругой разошлись
И не встречались уж боле.
Меня по воле иль неволе
Носило всюду... Принесло
На старости к родному дому...
Когда-то шумное село
Теперь казалось мне, седому,
Пустынным, тихим и немым —
Таким, как я, — немолодым.

Как будто в облике его
Не изменилось ничего:
Все так же здесь, как раньше было, —
Ничто не выросло, не сгнило;
Все те же тополя и поле,
И над колодцем две вербы
Склонились, словно две рабы
Там далеко, в глухой неволе.
Прудок, плотина, и ветряк
За рощею крылами машет,
И дуб зеленый, как казак,
Что вышел из лесу и пляшет
По-над рекой... А у реки
Садочек темный, и в садочке
Лежат в тенистом холодочке
Мои родные старики.
Сломались крепкие кресты,
Слова дождями залиты.
Да что дожди и что слова!
Всё время хладное смывает!
Пускай спокойно почивают
Мои родные...

«А жива
Оксана эта?», замирая,
У брата спрашиваю я.

«Кто?» —

«Ну, Оксаночка моя,
Что с нами, помнишь, все играла...
Да что с тобой, родимый, стало?
Чего грустишь?» —

«Ой, побрела

Оксана как-то раз в поход
За москалями... И пропала.
Вернулась, правда, через год,
Да что с того! С дитём безродным...
Острижена... Сидит в ночи
Бывало под дождем холодным
И то кукует, то кричит,
А то тихонько напевает,
То будто косы расплетает...
Потом опять она ушла
В осенний день — такой ненастный!

Никто не знает, что с несчастной.
Какая девушка была!
Красавиц этаких немного,
Да счастья, видно, бог не дал!»

А может, дал, да вор украл
И обманул святого бога.

Кос-Арал, 1849.

Готово! Парус распустили,
По синим двинулись волнам,
И в Сыр-Дарью по камышам
Две барки медленно поплыли.
Прощай, убогий Кос-Арал!
Два трудных года разгонял
Мою ты грусть, мои печали.
Спасибо, друг мой! Ты собой
Гордиться можешь: отыскали
Тебя в пустыне, и тюрьмой
Твои поля и степи стали.
Прощай же, друг мой! Ни хулы
Тебе не шлю, ни похвалы
Тебе я не слагаю ныне...
А все же, может быть, потом,
Когда-нибудь, в краю ином
Я вспомню о твоей пустыне.

Кос-Арал, 1849.

Считаю дни, считаю ночи —
И счет забываю.
Как безрадостно в неволе
Жизнь я проживаю!
День за днем и год за годом
Плывут себе тихо,



Киргизский мальчик.

Всё с собою забирают —
И добро и лихо.
Забирают, исчезают,
Вновь не возвращают.
Бога просишь — так молитвы
Даром пропадают.
Гнилой болотною тропою,
Глухой бурьянною травою
Три года грустно протекли,
И много, много унесли .
Добра из моего амбара,
И к морю тихо поплыли,
И в море бросили задаром
Не сундуки с моей казной —
Мои лета и мой покой,
Мою тоску, мои печали,
Мои незримые скрижали,
Незримо писанные мной.

Пускай же по тропе болотной
Текут себе в тиши дремотной
Года невольничьи. А я —
Такая заповедь моя, —
Я посижу да погуляю,
На степь, на море подивлюсь,
Подумаю да погадаю
И вновь за книжечку берусь,
Строчу тихонько. Начинаю...

Оренбург, 1850.

Запели мы... и, разлучась,
Не вымолвили слова.
А свидимся ли снова,
Споем ли песню в добрый час?
Быть может!.. Только где? Какими?
С какою песней мы придем?
Не тут и, верно, не такими,
И не такую запоем.
И тут невесело певали,

И тут несладко нам пришлось,
А все-таки кой-как жилось.
Порою вместе горевали,
Припоминая милый край,
И Днепр — широкий, крутогорый,
И молодое наше горе,
И молодой, греховный рай.

Оренбург, 1850.

Не молилася за сына,
Поклоны не клала
Мать моя; а так себе
Меня повивала,
Напевала: «Пусть растет,
Пусть здоровым будет...»
И вырос я, слава богу,
Да не вышел в люди.
Лучше было б не родиться,
Лучше утопиться,
Чем роптаньем гневить бога,
В неволе томиться.

А я так мало, так немного —
Лишь хату я просил у бога,
Одну лишь хаточку в гаю
Просил, два тополя пред нею
И горемычную мою,
Мою Оксаночку, чтоб с нею
Вдвоем смотреть на небеса,
На Днепр широкий, на леса,
На нив простор благоуханный
И на высокие курганы.
Смотреть, и думать, и гадать:
Когда курган соорудили?
Кого под ним похоронили?
И тихо вместе напевать
Годов печальное сказанье,
О славном гетмане преданье,

Сожженном ляхами... Потом
Сошли бы мы с горы вдвоем
И над Днепром, в лесу косматом,
Гуляли б с нею до заката,
Пока мир божий не заснет,
Пока с вечернею звездою
Не встанет месяц над горою,
Туман с полей не уберет.
Мы б поглядели, помолились
И, разговаривая тихо,
Пужинать пошли б до дому...

Даешь ты, господи, хоромы,
Сады панам в твоём раю,
Даешь высокие палаты...
Паны же, жадны и пузаты,
На рай твой, господи, плюют,
А нам и глянуть не дают
Из малой нищей хаты...

В раю лишь хатку небольшую
Просил и до сих пор прошу я,
Хоть умереть мне на Днепре,
Хотя б на маленькой горе!..

Оренбург, 1850.

Когда б вы знали, господа,
Где плачут горе и нужда,
То вы б идиллий не писали
И гимнов богу не слагали,
Смеясь над нами без стыда.

За что, не знаю, называют
Хатёнку в роще тихим раем:
Мои в ней муки начались,
Мои в ней слезы пролились
Из детских глаз. И я не знаю:
Какое есть у бога зло,



Киргизская девушка.

Что б в этой хате не жило!
А хату раем называют!

Не назову так никогда
Я хату в роще у пруда:
Меня ребенком пленала
Там мать моя и напевала
Над колыбелью — скорьбь свою
В свое дитя переливала.
В той бедной хате, в том раю
Я видел ад... Там угнетали
Тяжелой каторгой труда;
Там подневольным никогда
И помолиться не давали;
Там доброй матери моей
Нужда с работой через силу
До времени, в расцвете дней,
Жестоко вырыла могилу;
Там, плача с малыми детьми,
Отец не вынес тяжкой доли
И умер, как и мать, в неволе,
На барщине. И меж людьми,
Как мышенята в чистом поле,
Мы разбрелись. Живя при школе,
Таскал я воду школярам,
А братья, старше по годам,
Уже на барщину ходили;
Потом в солдаты их забрили.
А сестры... сестры! Горе им,
Моим голубкам молодым!
На свет батрачками родились,
В батрачках юность проживут,
О счастье и мечтать не смеют:
Живя в батрачках, поседеют,
Живя в батрачках, и умрут.

Я содрогаюсь, вспоминая
Ту хату на краю села.
Такие, боже мой, дела
Творим мы средь земного рая,
На праведной земле твоей!



Чекан-Арал.

Тот рай стал адом для людей,
Тебя о новом умоляем.
Мы тихо с братьями живем,
Поля мы братьями орём,
Их потом нивы поливаем.
И может быть... решать не нам...
Но кажется, что ты и сам...
Ведь без твоей господней воли
Мы не томились бы в неволе...
Быть может, ты смеешься там,
На небе, господи, над нами
И совещаешься с панами,
Как миром править? Погляди:
Вон зелень рощи впереди,
А из-за рощи пруд сверкает
На солнце светлым полотном;
Склонились вербы над прудом
И ветви сонные купают
В его воде... Не правда ль, рай?
А загляни в него, узнай,
Что этот рай в себе скрывает!
Конечно, радость! И хвала
За дивные твои дела
К тебе единому несется...

О нет! Какая там хвала!
Давно хвала здесь не поется:
Здесь — кровь, да слезы, да хула.
Хула на всё! И нет святыни,
И нет молитвы к небесам,
И даже кажется, что ныне
Людьми уж проклят ты и сам.

Оренбург, 1850.

ДОЛЯ

Ты не лукавила со мною;
Ты другом стала и сestroю
Мне, бедному. Меня взяла
Ты за ребяческую руку
И к пьяному дьячку свела,
И отдала ему в науку.
«Учись! Когда-нибудь, малыш,
И выйдем в люди», ты сказала.
Я и послушался, глядишь —
И выучился. Ты ж солгала.
Да что! Куда уж в люди нам!
Мы не лукавили с тобою,
Мы прямо шли, и ни зерна
У нас неправды за собою.
Пойдем же, долюшка моя,
О друг мой бедный, нелукавый,
Пойдем же дальше: дальше слава,
А слава — заповедь моя.

Нижний-Новгород, 1858.

МУЗА

...А ты, пречистая, святая,
Сестра ты Феба молодая!
Меня ты на руки взяла
И тихо в поле отнесла.



Шевченко с киргизскими детьми.

И на могиле среди поля,
Как ту свободу на раздолье,
Туманной мглой заволокла,
И будто в люльке укачала,
И пела песенку... и я...
О ты, волшебница моя!
Ты мне повсюду помогала,
Меня везде оберегала.

В безлюдной и чужой степи,
В далекой неволе,
Ты сияла, красовалась,
Как цветочек в поле.
Из замызанной казармы
Чистою, святою
Пташечкою вылетела,
Взмыла надо мною.
Полетела, промелькнула
Песней златокрылой...
Будто бы живой водою
Душу окропила!

И я живу, и надо мною
Своей божественной красою
Горишь ты, звездочка моя!
Моя советчица святая!
Моя ты доля молодая!
Не покидай меня! В ночи,
И ясным днем и вечерами
Ты будь со мною и учи,
Учи нелгущими устами
Коснуться правды. Помоги
Молитву дочитать, святая!
А если я умру, родная,
О мать моя, ты положи
Меня в могилу на просторе
И хоть одну слезинку горя
В очах бессмертных покажи!

Нижний-Новгород, 1858.

СОН.

Она на барском поле жала
И тихо побрела к снопам —
Не отдохнуть, хоть и устала,
А покормить ребенка там.

В тени лежал и плакал он.
Она его распеленала,
Кормила, нянчила, ласкала —
И незаметно впала в сон.

И снится ей житьем довольный
Ее Иван... Пригож, богат...
На вольной, кажется, женат —
И потому, что сам уж вольный...

Они с лицом веселым жнут
На поле собственном пшеницу,
А детки им обед несут...
И тихо улыбнулась жница.

Но тут проснулась... Тяжко ей!
И, спеленав малютку быстро,
Взялась за серп — дожать скорей
Урочный сноп свой до бурмистра.

Петербург, 1858.

Я — чтоб не сглазить — не хвораю,
Но все же что-то примечаю:
Чего-то сердце ждет... Болит,
Болит, и плачет, и не спит,
Как тот малыш, что всеми брошен.
Наверно, вести нехорошей
Ты ждешь.

Добра не ожидай,
Не ожидай желанной воли:
Ее замучил Николай,
Сама она не встанет боле.

Чтобы поднять и разбудить
Ее, больную, надо миром
Обух широкий закалить
И наточить острой секиру,
Да и скорей ее будить!
Не то она вовек не встанет,
Проспит до страшного суда;
Ее баюкать барство станет,
Чтоб не проснулась никогда;
Дворцы и храмы будет ставить,
Царя хвалить, любить его
Да византийство хором славить,
И всё... И больше ничего!

Петербург, 1858.

МАРКУ ВОВЧКУ

*На память
о 24 января 1859 года*

Недавно я по-за Уралом
Блуждал и бога умолял,
Чтоб наша правда не пропала,
Чтоб наша речь не умирала, —
И вымолил! Господь послал
Тебя нам, кроткого пророка
И обличителя жестоких
И ненасытных...

Жизнь моя!

Моя ты зоренька святая!
Моя ты сила молодая!
Свети и обогрей меня
И сердце к жизни возроди
В моей истерзанной груди.
Я вновь воспряну, оживу
И думу вольную на волю
Из гроба снова подниму.
И думу вольную... О доля!..
Твоею думу назову!

Петербург, 1859.



Киргизка взбивает кумыс.

СЕСТРЕ

Минуя нищенские села,
Леса, поля пустые, доли,
Я думал:

«Что же я брожу?

Что ждет меня на белом свете?..»

И снится сон мне: я гляжу —

И вижу сад в весеннем цвете,

И домик на горе стоит,

Как дева, что к венцу убрали...

А Днепр синей казацкой стали

Сияет, батька, и горит.

Гляжу — в зеленом том садочке,

Под вишней, в самом холодочке,

Моя единая сестра,

Многострадалица святая,

Сидит, как будто в кущах рая,

И глаз не сводит со Днепра,

Меня, беднягу, поджидая.

И мнится ей, что выплывает

Из-за волны мой челн... Плывет,

Плывет и тонет в бездне вод.

«Мой брат, мой брат! Моя ты доля!»

И мы проснулись оба: ты —

На барщине, а я — в неволе.

Нам сызмальства пришлось итти

Пустою и колючей нивой.

Молись, сестра! Коль будем живы,

То бог поможет перейти!

Черкассы, 1859.

Ой ты, темная дуброва!

У тебя обновы

Трижды в год. Богаты, видно,

Сундуки отцовы.

Разукрасит тебя старый

Зеленым покровом,

А сам глядит, любит
Своею дубровой.
Насмотрится на любушку,
Дочку молодую,
Возьмет да и закутает
В ризу золотую.
И укроет дорогою
Белой пеленою,
Да и ляжет, притомившись
Заботой такою.

Петербург, 1860.

МОЛИТВЫ

1

Царям — всесветным шинкарям —
Монету звонкую, рубли
И цепи крепкие пошли!

Рабочим головам, рукам
Средь их ограбленной земли
Свою ты силу ниспошли!

А мне, мой боже, на земле
Поддай любовь, сердечный рай,
А большего и не давай!

2

Царей — кровавых шинкарей —
В оковы крепкие закуй,
В глубоком склепе замуруй!

Рабочим людям, всеблагий,
Средь их ограбленной земли
Свою ты силу ниспошли!

А чистых сердцем? — Возле них
Поставь ты ангелов своих,
Чтоб чистоту их соблюли!

А мне любить, о боже, дай
Любить всю истину земли
И друга верного пошли!

Петербург, 1860.

Хотя лежачего не бьют,
Да и прилечь-то не дают
Ленивому...

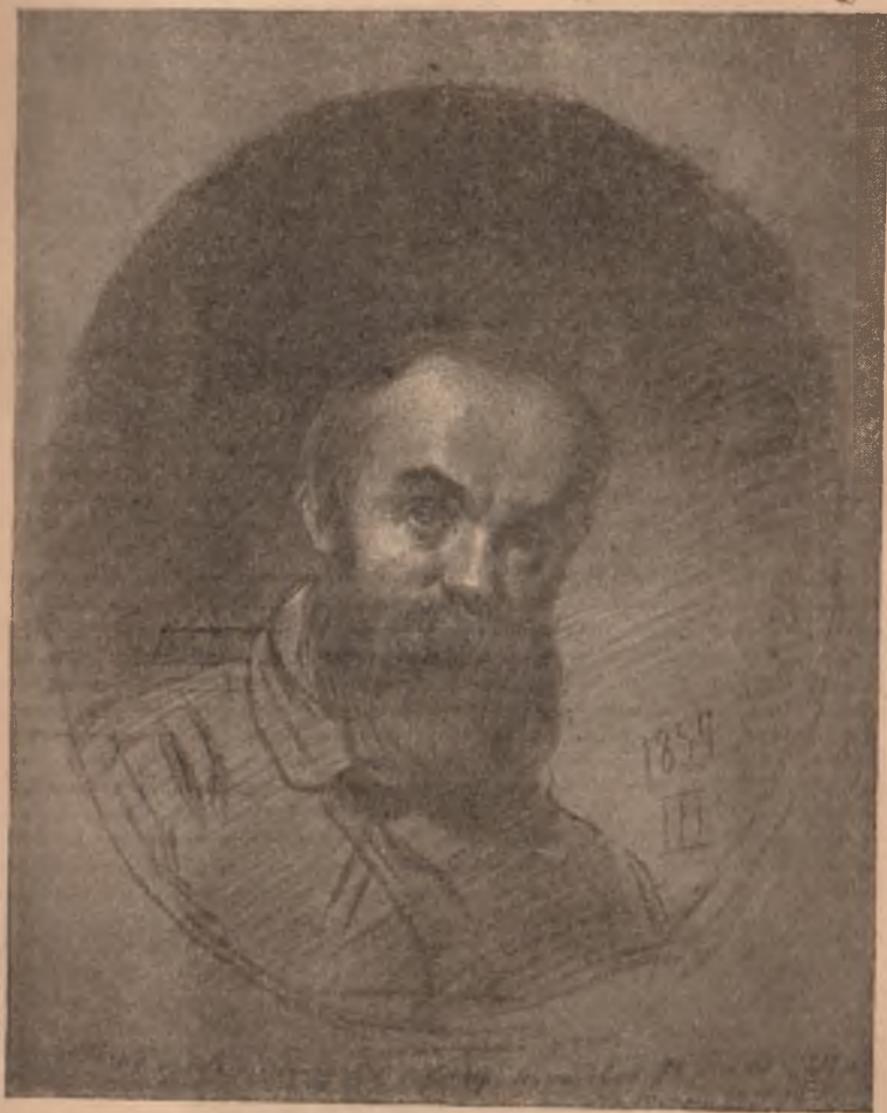
Тебя ж, о сука,
И сами мы, и наши внуки;
И люди миром проклянут.
Не проклянут, а только плюнут
На тех раскормленных щенят,
Что ты щенила. Мука! Мука!
О, скорбь моя, моя печаль!
Когда ты сгинешь? Или псами
Цари с министрами-рабами
Тебя затравят, изведут? —
Не изведут! А люди тихо,
Без всякого лихого лиха
Царя на плаху поведут.

Петербург, 1860.

Повсюду мрак — житья не стало!
Душа-бедняга рано встала;
Попряла малость и легла
Вздремнуть, забыв о доле тяжкой,
А воля душу стерегла.

«Проснися, — молвит, — плачь, бедняжка!
Не встанет солнце. Мир во мгле!
И правды нету на земле!»

Дурная воля обманула
Тебя, душа: заря встает
И за собою день ведет.



Автопортрет (1857 год).

Уж смущены тревожным гулом
Цари в своем всеильном зле...
И будет правда на земле!..

Петербург, 1860.

О люди бедные, слепые!
Зачем вам изверги-цари?
Зачем кровавые псари?
Ведь не собаки вы цепные!

Полночный мрак, и снег, и холод...
Нева тихохонько несет
Куда-то за мост ломкий лед
Сквозь присмиривший сонный город.
И я в ночной тиши иду,
Покашливая на ходу,
И вижу: сбившись, как ягнята,
Шагают хилые дивчата,
А дед — убогий инвалид —
Спешит за ними, ковыляет,
Как будто в стойло загоняет
Скотину...

Что ж господь глядит?
Где правда здесь? О, горе, горе!
Рожденных в страхе и позоре,
Сирот, подкидышей, байстрят
Ведут «последний долг отдать»,
Ведут к царице, как отару.
Придет ли суд, придет ли кара
На всех царей, царят земли?
Взойдет ли правда меж людьми?
Взойдет! Не то огнем крылатым
Обуглит солнце мир треклятый!

Петербург, 1860.

Однажды над Невой иду
В глухой ночи. И на ходу
Так размышляю сам с собою:
«Когда б, — я думаю, — когда б
Таким покорным не был раб,
То оскверненных над Невою
Не возвышалось бы палат!
Была б сестра и был бы брат!
А то лишь слез и горя много,
И нет ни бога, ни полбога.
Псаряи с псарятами царят,
А мы с ухваткой доезжачих
Борзых собак растим и плачем».

Вот так, шагая над Невой,
И размышлял я сам с собой,
Тяжелой думой озадачен.
А за рекою, как из ямы,
Глаза кошачьи на меня
Глядят, — то фонари горят
Возле апостольского храма.
Тут спохватился и крестом
Я осенился, трижды плюнул
И снова думать стал о том,
О том, о чем и раньше думал.

Петербург, 1860.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГАМАЛИЯ

Герой поэмы — атаман Гамалия — лицо вымышленное. На Запорожье в XVII веке были атаманы, носившие это имя, но ни один из них не водил казаков к Стамбулу. Однако поэма правдиво передает всю обстановку похода запорожских казаков на султанскую Турцию.

Великий Луг — болотистая, озерная низменность на левом берегу Днепра, пересеченная реками, поросшая лесом, богатая рыбой и зверем. Сюда ходили запорожцы охотиться и рыбачить.

Байдаки — длинные, узкие речные челны из дубовых или липовых бревен, с высокими бортами, опоясанными камышом для защиты от волн, стрел и пуль. В каждом челне помещалось 50—60 воинов.

Скутари — предместье Стамбула.

Лиман — морской залив, в который впадает река, в данном случае — Днепр.

Хортица — остров на Днепре, за порогами, где долгое время был центр Запорожья — Запорожская Сечь.

Янычары — гвардия турецкого султана, составленная из пленников, которых турки с детства воспитывали в духе ярого магометанского фанатизма.

Паша — турецкий генерал.

Византия — древнее наименование Стамбула.

Домовина — гроб.

Сечь — хозяйственный и административный центр «Войска Запорожского Низового». Тут жили кошевой атаман и его помощники: есаулы, войсковой судья и писарь; тут собиралась «рада» — совет старшин; тут творился суд; тут решались походы — на турок, на поляков, на татар; тут делили военную добычу, распределяли между куренями рыбалки, уголья, пасеки, луга; тут принимали чужеземных послов и торговцев.

Курень — жилище казаков в Сечи; нечто вроде барака или казармы, где жили казаки одного войскового подразделения.

«Сожжет чернец ее Галату снова...» — Речь идет о кошевом атамане запорожском, а впоследствии и гетмане Петре Сагайдачном (умер в 1622 году), который не раз совершал походы на Турцию и однажды сжег Галату, предместье Стамбула. Шевченко, следуя народному преданию, называет Сагайдачного чернецом, то есть монахом, хотя в действительности этот гетман и монахи не постригались.

«Иль на море Иван Подкова на поединок позовет». — Иван Подкова — один из запорожских атаманов XVI века, борющихся с Турцией.

С О В А

При царе Николае I служба каждого солдата продолжалась 20 лет. Вся тяжесть рекрутских наборов, производившихся ежегодно, ложилась на крестьянскую и городскую бедноту. Помещики и купцы были вовсе освобождены от рекрутчины, а крестьяне побогаче откупались от нее, пользуясь продажностью царских чиновников.

«Годен!» — ровно под аршин» — то есть подходит по росту. (Во время призыва новобранцам измеряли рост.)

М. С. ЩЕПКИНУ

Стихотворение посвящено великому русскому артисту Михаилу Семеновичу Щепкину (1788—1863), многолетнему преданному другу Шевченко.

В судьбе Шевченко и Щепкина много общего: оба они были крепостными, обоим удалось добиться воли, претерпев немало мытарств и унижений. Оба — каждый в своей области — боролись за правдивое искусство.

Щепкин любил эти стихи и впоследствии, уже во время ссылки Шевченко, нередко читал их знакомым, не страшась обнаружить близкие отношения с опальным поэтом.

В 1858 году, когда Шевченко был еще запрещен въезд в Петербург и в Москву и он вынужден был жить в Нижнем под надзором полиции, Щепкин приехал в Нижний, чтобы повидаться с ним. «Каков старец! — с восхищением писал о нем Шевченко. — За четыреста верст приехал навестить давно невиданного друга. Вот это называется друг!»

БРЕТИК

История героической жизни и смерти великого чеха — Яна Гуса — привлекла Шевченко как одно из проявлений извечной народной борьбы с угнетателями. В поэме речь идет о борьбе чешского народа против немцев, против онемеченной чешской знати и онемеченного духовенства. Ян Гус (1369—1415) — религиозный реформатор, поборник чешской национальной независимости. В своих негодующих проповедях Гус бичевал продажность, лицемерие, разврат высшего духовенства, немецких князей и баронов. Гус не щадил и самого римского папу, жестоко издеваясь над тем, что

каждый преступник за деньги может приобрести у папы полное «отпущение грехов». Зато он и вызвал лютую ненависть тогдашних властителей Чехии — германского императора Вячеслава, германских баронов и герцогов, римского папы и его приближенных. Они объявили Гуса «еретиком», то есть извратителем вероучения, врагом церкви. В Констанце — городке на Рейне — был созван «собор», и там Гусу предложено было отказаться от своих обличений или умереть. Гус предпочел смерть. Он неколебимо отвечал на все вопросы собора и продолжал проповедь. 5 июля 1415 года его приговорили к смертной казни, а 6-го сожгли на костре.

Мученическая смерть Гуса послужила сигналом к могучему и победоносному народному восстанию. Войны, которые на протяжении нескольких лет вели чешские крестьяне и ремесленники против Германии и папского Рима, вошли в историю под названием «гуситских».

Свою поэму о Гусе Шевченко посвятил выдающемуся чешскому ученому, поборнику объединения славянских народов — Шафарику (1795—1861). «В одно собрал ты море славянские реки» — пишет о нем Шевченко потому, что Шафарик ратовал за освобождение славянских народов от австрийского ига и создание единой федерации славян. Иезекиилем он именует его потому, что, согласно библейскому преданию, пророк Иезекииль предсказывал своему народу освобождение от чужеземного плена.

«Камень, его же небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших». — «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это от Господа и есть дивно в очаж наших».

«На апостольском престоле монах откормленный сидит» — глава католической церкви, римский папа.

«Твой светлый рай сдает внаём». — Тут Шевченко имеет в виду продажу так называемых «индульгенций», то есть свидетельств об «отпущении грехов», которыми торговали папы. Вот надпись на одной из таких индульгенций: «Это — ширина и длина ран на пречистых бедрах Христа. Кто целует их, тот получает каждый раз отпущение грехов на семь лет вперед». Торговля индульгенциями была организована чрезвычайно широко и приносила папской казне огромные доходы.

«Три короны высокой тиары...» — Тиара — высокая папская шапка, охваченная тремя золотыми коронами.

Булла — послание папы. Шевченко называет так индульгенцию — «отпущение грехов».

«Этой самой, что позавчера водили по улицам Праги!» — В исторической статье о Гусе, вышедшей в свет в 1845 году, рассказывается, как сторонник Гуса Иероним «подговорил одну женщину подозрительного поведения повесить себе на шею письменное отпущение папы и... стал водить ее по улицам Праги. Потом торжественно сжег отпущение».

Догматы — основные положения религии, которые считались неизбежными и критике не подлежали; за всякое сомнение в их правильности католическая церковь подвергала усомнившихся жестокой каре.

«До самой мировой столицы» — то есть до папского Рима.

Конклав — собрание кардиналов; кардиналы — семьдесят высших сановников католической церкви, из своей среды выбирающих папу.

Ватикан — резиденция папы в Риме; пышные дворцы папы и его приближенных на Ватиканских холмах.

Авиньон — городок на юге Франции. Во времена Гуса Авиньон был местопребыванием одного из антипап, то есть претендента на папский престол, избранного одной частью духовенства и не признанного другой.

«Как будто с сарацином в бой...» — Сарацинами в средние века называли в Европе арабов и всех вообще магометан. В XI—XIII веках европейские феодалы не раз совершали грабительские походы на Ближний Восток под предлогом защиты «гроба господня».

Аттила — знаменитый завоеватель, с 432 по 453 год — царь гуннов, прозванный за свою жестокость «бичом Божиим». Аттила совершал опустошительные походы в Европу.

«И кесаря, и Вячеслава... там вслух бранят на ребой...» — Кесарь — германский император Сигизмунд (1368—1437); Вячеслав (1361—1419) — брат Сигизмунда, император Германии и король Чехии.

Прелаты — высшие сановники католической церкви: кардиналы, епископы, настоятели монастырей.

Аутодафе — испанское слово, буквально означающее «дело веры»; так называлась церемония, сопутствовавшая исполнению приговора инквизиции — например, сожжению на костре.

Голгофа — гора возле Иерусалима, где, согласно евангельскому преданию, был распят Христос.

«Te deum laudamus» (лат.) — первые слова католического гимна «Те деум лаудамус» («Тебя, бога, хвалим»).

«...Сошлись чехи. Из-под пепла горсть земли с собою взяли в Прагу...» — «Прах Гуса, тщательно собранный, был брошен в Рейн... Современные летописи говорят, что гуситы перенесли в Прагу часть той земли, на которой Гус испустил дух свой» (статья о Гусе, вышедшая в свет в 1845 году).

«Старый Жижка из Табора взмахнул булавою». — Жижка Ян (1360—1424) — один из предводителей восстания, создавший на Таборской возвышенности, в городе Таборе, из крестьян и ремесленников, вооруженных пиками и цепями, мощную народную армию. Сплоченные суровой дисциплиной, организованные так, что они могли быстро передвигаться, воины Жижки дошли до самой Праги и дважды наголову разбили малоподвижную, тяжелую, закованную в латы рыцарскую кавалерию германского императора Сигизмунда.

НЕВОЛЬНИК

Межигорский Спас — см. примечание на стр. 193.

Почаев — городок на Волыни, славившийся своим монастырем.

Кошевой — главный командир «Войска Запорожского Низового» в военное и мирное время.

На кругу — то есть на казачьем совете, на «раде войско-вой».

Тендер — остров на Черном море.

Атаман куренной. — Курень — одно из подразделений Запорожского войска. «Войско Запорожское Низовое» делилось на полки, полки — на сотни, сотни — на курени. У всякого куреня был свой куренной атаман.

Казак реестровый — то есть занесенный в особые казачьи «реестры» — списки привилегированных казаков.

Янычары — см. примечание на стр. 186.

«И рассказывают, плачут, как Сечь разоряли...» — В 1775 году войска Екатерины II уничтожили Запорожскую Сечь. Рассказ об этом событии и о том, что совершилось после, написан Шевченко от лица запорожского казака. Автор не стремится к исторической точности; здесь у него другая цель: изобразить не самые события, а отношение своего героя к ним. Несущественно, что Кирилл (то есть гетман Разумовский), о котором упоминает Степан, в действительности правил Запорожьем не при Екатерине, а несколькими годами ранее — при Елизавете; не важно, что Екатерина II в действительности не поджигала запорожской святыни — Межигорского монастыря. Существенно то, что гетман Разумовский (1728—1803) действительно был ставленником царской власти, жестоко притеснял рядовое казачество и казаки ненавидели его; существенно, что пожар в своем любимом монастыре запорожцы действительно почитали делом рук «коварной царицы». Так воспринимали события рядовые запорожцы, так запечатлелись они в преданиях и песнях.

«...И на тихом на Дунае новой Сечью стали». — После 1775 года несколько тысяч казаков, бежавших из Сечи, основали под покровительством Турции новую Сечь — Задунайскую.

«Как царица по Киеву с Нечосой гуляла...» — В 1787 году Екатерина II совершила путешествие по Украине и Крыму в сопровождении могущественного вельможи — члена Государственного совета, генерал-губернатора Новороссии, фельдмаршала, светлейшего князя Григория Потемкина (1739—1791). Празднества, увеселения, иллюминации на Днепре следовали одно за другим. Нечосой запорожцы прозвали Потемкина, повидимому за его большой парик.

«И как степи запорожьи тогда поделили, за панями запорожский народ закрепили». — После уничтожения Сечи Екатерина II раздала земли «Войска Запорожского Низового» казачьей старшине и русским вельможам. В 1783 году она окончательно закрепостила украинских крестьян и запорожскую бедноту украинскому панству и русским помещикам.

«Головатый остатки собирает, на Кубань их подбивает...» — После уничтожения Сечи запорожец Антон Головатый в числе нескольких тысяч казаков подался было под власть турецкого султана, но в 1787 году, во время войны Россия с Турцией, был членом той депутации запорожцев к Екатерине II, которая просила царицу о разрешении биться с турками — «с нехристями» —

на стороне русских. Через несколько лет Головатый снова ездил к царице, чтобы добыть «грамоту запорожцам на Кубанские степи», и явился одним из организаторов «войска верных казаков черноморских».

БАТРАЧКА

«Вернулись люди с рушниками, с святым хлебом обмененным...» — Рушники — вышитые полотенца. По старинному украинскому обычаю, во время обряда сватовства сватов в невестинной хате перевязывали вышитыми полотенцами, и отец невесты, приняв у них хлеб, подносил им свой. Это обозначало, что невеста и ее родные согласны.

«...Каравай месили...» — За два дня до свадьбы пекли пышный пшеничный хлеб, украшенный золотой мишурой и фигурками птиц, вылепленными из теста.

Печерская лавра — Киево-Печерский монастырь, возведенный на Киевских горах в XI веке. Пещеры вокруг монастыря вырыты были монахами, удалявшимися в киевские горы для поста, молитвы и покаяния.

Паланица — плоский пшеничный хлебец.

Очипок — чепец, который носила под платком замужняя женщина.

КАВКАЗ

Поэма посвящена художнику Якову Петровичу де-Бальмену (1813—1845), приятелю Шевченко, сделавшему немало рисунков к его произведениям. В 1845 году де-Бальмен погиб на Кавказе в одной из стычек с горцами.

В этой поэме Шевченко поднимает голос на защиту народов Кавказа, оборонявших свою землю и свою волю от натиска царизма. И не только за кавказцев вступается тут Шевченко, но и за все народы — «от молдаванина до финна», — поработенные царизмом.

«Кто даст главе моей воду, и очесем моим источник слез, и плачуся и день и ночь о побиенных...» — «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных...»

Прометей. — В одном из древнегреческих мифов рассказывается, что титан Прометей похитил у богов огонь и принес его людям. Зевс разгневался и повелел приковать Прометея к скале в горах Кавказа. Каждый день орел прилетал клевать печень Прометея.

В поэме Шевченко Прометей — символ поработенных народов Кавказа, а орел — символ царизма. (Орел — герб Российской империи.)

«...Милостивы мы...» — Каждый царь в манифестах, говоря о себе, употреблял местоимение «мы». Манифесты всегда начинались словами: «Мы, божьей милостью...» В данном случае «мы» — это царь Николай I.

«...царь... отобрал жену у друга...» — Библейское предание рассказывает об иудейском царе Давиде, который отправил одного из своих воинов на верную смерть, чтобы овладеть женой его.

Н. КОСТОМАРОВУ

Костомаров Н. И. (1817—1885) — известный историк, профессор Киевского, а потом и Петербургского университета. В 1847 году в Киеве, одновременно с Шевченко, он был арестован по делу о тайном обществе (см. предисловие, стр. 17) и отправлен в Петербург, в тюрьму «Третьего отделения». В Петербурге, в тюрьме, где они одновременно находились под следствием, Шевченко и написал посвященные Костомарову стихи. Хотя революционные призывы поэта были чужды Костомарову, отношения между ними всегда оставались приятельскими.

Татьяна Петровна, мать Костомарова, в детстве и юности была крепостной. Быть может, именно поэтому Шевченко относился к ней с особой симпатией. В Киеве, где он был соседом Костомаровых, он подолгу просиживал в маленьком, усаженном вишнями, уставленном ульями саду, беседуя с Татьяной Петровной. В 1857 году, возвращаясь из ссылки, он навестил Татьяну Петровну в Саратове и преподнес ей стихи, написанные им десять лет тому назад — в тот день, когда он увидел ее во дворе тюрьмы из-за решетки своего окна.

„КОГДА МЫ БЫЛИ КАЗАКАМИ...“

Шевченко ненавидел польских панов, жестоко угнетавших Украину. Ненавистью к польскому панству, терзавшему его родину, проникнуто множество его стихов и поэм. Но он глубоко уважал польский народ, чтит польских писателей и борцов за свободу. Еще в Петербурге, юношей, он увлекался стихами великого польского поэта Мицкевича. В ссылке он близко сошелся с польскими литераторами, историками, поэтами — Сераковским, Желиговским, Залесским и другими, сосланными в Оренбургские степи за революционную деятельность. Беседы революционера-украинца с революционерами-поляками, естественно, не могли не касаться прошлого и будущего двух великих славянских народов. Свободолюбивым полякам, которых Шевченко в письмах и стихах называл «братьями», и посвящено это стихотворение.

Уния (от латинского слова, обозначающего «союз») — объединение православной и римско-католической церкви, которое совершилось в 1596 году. Польские паны насильно вводили на Украине унию в целях «полонизации» (ополячения) украинского народа. Украинские крестьяне, отстаивая свою национальность и свою культуру, всячески сопротивлялись унии, так как видели в ней религию угнетателей, религию шляхты и панства.

ЧЕРНЕЦ

Фастовский казачий полковник Семен Палий (умер в 1710 году) был одним из вождей украинского народа в борьбе против панской Польши. В этой борьбе он искал опоры у России, но гетман Мазе-

па, опасаясь, что Палий разоблачит его изменнические замыслы, оклеветал Палия перед Петром I, и Петр в 1705 году сослал Палия в Сибирь, на пустынные берега Енисея. После того как предательство Мазепы стало явным, Петр поспешил вернуть оклеветанного полковника из ссылки, и тот принимал участие в Полтавском бою. Ему посвящены известные строки в пушкинской «Полтаве»:

Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волнение боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрых, в изгнание сиротей,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи,
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он сквозь бранный дым увидел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Цыбарка — ведро.

Бурса — общежитие при Киевском братском училище, основанное в первой половине XVII века. Бурсакам жилось голодно на казенных харчах, и они вынуждены были добывать себе пропитание воровством и попрошайничеством.

Межигорский Спас — знаменитый монастырь, построенный в XII веке верстах в двадцати от Киева, среди высоких гор. В конце XVIII века монастырь сделался «войсковым запорожским»; многие пожилые казаки удалялись в Межигорский монастырь «на покой», «замаливать грехи». Но Семен Палий в действительности никогда не был монахом; он до конца дней своих оставался фастовским полковником; он только похоронен в Межигорском монастыре.

«Пугу! Пугу!» — запорожское приветствие.

«Товарища с Лугу» — то есть из Запорожья, с Великого Луга (см. примечание на стр. 186).

Вышгород — большое село недалеко от Межигорья.

«Звонковая вода». — В долине неподалеку от Межигорского монастыря били ключи, которые в народе назывались «звонки».

«Гетман, белый, как сова» — Мазепа.

«Музыка, танцы и Бердичев...» — Народное предание рассказывает, будто Мазепа арестовал Палия в Бердичеве, пригласив его на пышный войсковой праздник.

Клобук — монашеская бархатная шапка, убранный креповой тканью, с тремя концами — «воскрылиями».

ПЛАТОК

Чигирин — город на Украине, который в XVII веке долгое время был местопребыванием украинских гетманов. Первым гетманом, перенесшим сюда свою резиденцию, был Богдан Хмельницкий.

Компанейцы — конные полки, вооруженные саблями, короткими ружьями и нагайками. Компанейцы, набранные из «охочих» людей, составляли личную гвардию гетмана.

Китайка — красная материя. У запорожцев был обычай покрывать китайкой тела казаков, погибших в бою.

Характерник — колдун. Пожилых, бывалых казаков запорожцы считали колдунами: они и пули заговаривать умеют, и от одного их дыхания враги с ног валятся, и от их ворожбы заживает всякая рана.

А. О. КОЗАЧКОВСКОМУ

Козачковский А. О. (1812—1889) — врач в Переяславе, приятель Шевченко.

«Перепишу Сквороду...» — то есть стихи, басни, изречения известного украинского поэта и философа Сквороды Г. С. (1722—1794), широко распространенные не только в городах, но и в селах украинских.

«Три царя с дарами...» — слова из рождественской обрядовой песни — колядки. По евангельскому преданию, три волхва — три восточных мудреца — увидели на небе звезду, знаменующую рождение Христа, и пошли в Вифлеем поклониться младенцу Иисусу и одарить его.

«И вот на старости опять пришлось в траве мне хорониться и петь, и плакать, и страницы стихами тайными марасть...» — Пренебрегая запрещением царя, Шевченко и в ссылке продолжал писать стихи (см. предисловие). Для новых стихов он смастерил себе маленькую книжечку и прятал ее за голенище сапога — за «халяву». Тургенев, познакомившийся с Тарасом Григорьевичем уже после возвращения его из ссылки, писал: «Он мне показал крошечную книжечку, переплетенную в простой дегтярный товар, в которую он заносил свои стихотворения и которую прятал в голенище сапога». В настоящее время эта драгоценная рукопись хранится на Украине, в Институте Шевченко.

П [ЕТРУ] С [КОРОПАДСКОМУ]

Шевченко высмеял в этом стихотворении фигуру помещика-крепостника, который кичится своим народолюбием, а на деле обирает крестьян.

П. Скоропадский был владельцем села Григорьевки, близ города Конотопа.

«Готический дом» — дом, выстроенный в стиле средневековых немецких и французских замков: с башенками, высокими окнами и проч.

«Он гетмана-глупца потомок...» — то есть потомок бездарного гетмана Ивана Скоропадского, правившего Украиной после

измены Мазепы. Кстати сказать, Петр Скоропадский был не только потомком гетмана Ивана Скоропадского, угнетавшего казацкую бедноту в начале XVIII века, но и предком Павло Скоропадского, палача украинского народа, поставленного немцами на Украине в 1918 году.

„БАБУ ТОЙ У КАТЕРИНЫ...“

Вдовиченко — сын вдовы.

«Кто из Крыма, из неволи...» — Запорожские казаки постоянно отражали хищнические набеги крымских татар. Татары (начиная с XV века подвластные Турции) врываются в украинские степи, жгли села и города и уводили в плен женщин, стариков, детей.

Козлов — город на побережье Черного моря, в Крыму (теперь — Евпатория).

Бахчисарай — город в Крыму, который долгое время (начиная со второй половины XV века) был резиденцией татарских ханов.

„ОЙ, ЧЕГО ТЫ ПОЧЕРНЕЛО...“

В 1651 году на Волыни, возле Берестечка, произошло большое сражение между польской армией во главе с королем Яном Казимиром и казацко-крестьянским войском, поднявшимся на борьбу за освобождение Украины во главе с Богданом Хмельницким. Внезапная измена крымского хана, бывшего в ту пору союзником Хмельницкого, дала возможность польскому войску жестоко расправиться с восставшими: под Берестечком погибло около ста тысяч украинцев.

„МЫ ВМЕСТЕ НЕКОГДА РОСЛИ...“

В этом автобиографическом стихотворении Шевченко рассказывает о подруге своего детства — Оксане Коваленко. Трагическая судьба Оксаны легла в основу многих поэм его: «Катерины», «Батрачки», «Слепой». Об Оксане вспоминает он в стихотворениях «Тогда мне лет тринадцать было...», «Не молилася за сына...»; ее черты придает своим излюбленным героиням.

Москаль — солдат.

„ГОТОВО! ПАРУС РАСПУСТИЛИ...“

Кос-Арал — маленький форт, выстроенный в сороковых годах в устье реки Сыр-Дарья для складов и служб сьрдарьинско-аральской флотилии. Лето 1848 и лето 1849 годов Шевченко провел на шхуне «Константин» в плавании по Аральскому морю в составе научной экспедиции, к которой он был прикомандирован в качестве художника «для снимания видов в степи и на берегах»; зимы же он проводил в Кос-Арале.

Экспедиция дала Шевченко возможность близко сойтись с молодыми русскими учеными и образованными офицерами; в экспеди-

ции он был свободен от солдатской муштры и мог без утайки заниматься любимым искусством. Тем не менее плавание по Аральскому морю и зимовки на Кос-Арале были очень тяжелы для него. Почта приходила на пустынный остров всего дважды в год. Зимой — лютые морозы и одиночество, летом — все опасности плавания по неведомому и бурному морю. «У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет», писал он впоследствии у себя в дневнике.

„НЕ МОЛИЛАСЯ ЗА СЫНА...“

«Мою Оксаночку...» — см. на стр. 195 примечание к стихотворению «Мы вместе некогда росли...»

«О славном гетмане преданье, сожженном ляхами...» — Повидимому, Шевченко имеет в виду гетмана Северина Наливайко, предводителя казацко-крестьянского восстания против шляхетской Польши в 1595—1596 годах, казненного в Варшаве в 1597 году. Существует народная легенда, будто Наливайко был сожжен в медном коне.

„КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ГОСПОДА...“

Это стихотворение направлено против лживой литературы либеральных дворян, изображавших жизнь тогдашнего украинского села богатой и чуть ли не безмятежной. Шевченко припомнил судьбу одной только крестьянской семьи — семьи своего отца, — и на месте сусального «рая», полного галушек и меда, под его пером сразу возник «ад» — ад подлинной, неприкрашенной закабаленной деревни. Красок сгущать ему не пришлось. Он ничего не преувеличил, ничего не добавил. Его мать действительно умерла молодой, тридцатидвухлетней женщиной; сам он с малых лет батрачил у дьячка; сестру Ирину ему так и не удалось выкупить из крепостной неволи.

Идиллия — стихотворение, воспевающее тихие радости простых, бесхитростных людей, наслаждающихся мирной жизнью на лоне природы.

„Я — ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ — НЕ ХВОРАЮ...“

Шевченко был возвращен из ссылки во времена царствования Александра II. Либералы возлагали большие надежды на те реформы, которые собирался провести Александр II, и всячески прославляли «милосердие» и «кротость» нового царя.

Но Шевченко, поэт крестьянской революции, чуял лицемерие и ложь и не предавался либеральным иллюзиям. Он, так же как и Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, понимал, что народ может ожидать свободы только от восстания, а не от милосердия царя.

«К топору зовите Русь!» писал Чернышевский.

Этот топор — та же секира, которую призывает наточить Шевченко.

«Византизм» — так Чернышевский и Герцен в своих публицистических статьях именовали уродливые проявления самодержавно-крепостнического строя. Герцен, изобличая самодурство царя и пресмыкательство его сановников, писал о «византийском самовластии», о «византийском раболепии». В таком же смысле употреблял это слово и Шевченко. (По своему политическому устройству греческое государство Византия с IV по XV век было абсолютной монархией; церковь проповедовала беспрекословное подчинение царю, «наместнику бога на земле», и в руках этого земного бога была сосредоточена вся полнота власти: церковной, гражданской и военной.)

МАРКУ ВОВЧКУ

Марко Вовчок — псевдоним известной украинской писательницы Марии Александровны Маркевич (1834—1907). В своих «Народных рассказах», вышедших в 1857 году, писательница изображала необузданное самоуправство помещиков и печальную долю крепостных. Вот почему Шевченко, великий борец за освобождение крестьян, был глубоко тронут этой книгой и назвал Марку Вовчка «обличителем жестоких и ненасытных».

Встреча Шевченко с М. А. Маркевич произошла в Петербурге в 1859 году, повидимому 24 января, и с этого же дня началась их душевная дружба. «Дочка моя» — называл Марию Александровну Шевченко, «единственная моя дочка». Но рассказы Марку Вовчка Шевченко прочел значительно раньше, чем познакомился с их автором. Еще в феврале 1858 года в Нижнем-Новгороде он занес себе в дневник такие строки: «Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за радость, доставленную чтением ее вдохновенной книги».

СЕСТРЕ

Стихотворение это посвящено одной из сестер Тараса Григорьевича, Ирине. Ирина была моложе брата, но в детстве ей не раз доводилось укрывать его от побоев мачехи и пьяного дьячка — в огороде, в высоком бурьяне, куда она потихоньку приносила ему хлеб. Тарас был сильно привязан к ней всю жизнь, посылал ей деньги из своего скудного заработка и горячо принимал к сердцу ее тяжелую судьбу. «А маляру поганому скажи: если он не уймется, то окажется там, где ему и не снилось», писал он брату Никите о муже Ирины, маляре, который под пьяную руку колотил ее. С того дня, как Тарас Григорьевич сделался «вольным», он мечтал о «воле» для своих братьев и сестер. Но он был слишком беден, чтобы выкупить их. В 1859 году, возвратившись из ссылки, он побывал на Украине, и тут после долгой разлуки произошла их встреча — встреча недавнего ссыльного и его крепостной сестры. Возвратившись в Петербург, Шевченко начал настойчиво хлопотать об осво-

бождении своих родных; в этих хлопотах приняли участие деятели «Литературного фонда» и среди них — Тургенев и Чернышевский. Судьба сестры Ирины заботила Тараса Григорьевича более всего. «Я никогда не забуду нашего прощания, — писал приятель Шевченко, молодой офицер Новицкий, которому «Литературный фонд» поручил вести переговоры с помещиком о выкупе родных Тараса Григорьевича, — когда Тарас, вновь повторяя свою просьбу похлопотать о его братьях и сестре Орине, с судорожным воплем: «О Орина, Орина!» упал на убогий диванчик, стоящий в углу его убогой квартирнки, и истерически, громко зарыдал, как ребенок».

Тарасу Григорьевичу так и не удалось увидеть Ирину вольной. Помещик Фиорковский согласился дать родне Шевченко вольную, но только без земли. Такая «воля» грозила им голодной смертью. «О, и бестия же этот Фиорковский!», писал о нем Новицкий с Украины. «Г. Фиорковский, — писал о нем Новицкий впоследствии, — за Шевченко... никакого таланта не признавал».

Родные Тараса Григорьевича получили вольную только на общих основаниях, по царскому манифесту, когда самого Шевченко уже не было в живых.

„ХОТЯ ЛЕЖА ЧЕГО НЕ БЬЮТ...“

19 октября 1860 года умерла Александра Федоровна — вдова Николая I, мать Александра II. Вся «верноподданическая Россия» поспешила заверить «убитую горем» «августейшую семью» в «своей преданности и верности престолу». А Шевченко на смерть императрицы откликнулся гневным стихотворением, которое в тот же день в списках разошлось по городу.

Александра Федоровна была известна своей лицемерной благотворительностью (она считалась «попечительницей» приютов и воспитательных домов для сирот и подкидышей), а еще более — нескрываемой ненавистью ко всяким проявлениям свободомыслия. Декабрьское восстание вселило в нее ужас на всю жизнь. Всякую просьбу о смягчении участи декабристов она воспринимала как личную обиду. «Беснующейся чернью» назвала она крестьян, восставших в военных поселениях. Робкие реформы Александра II возбуждали в ней страх, самая мысль об освобождении крестьян казалась ей возмутительной.

Шевченко высмеял Александру Федоровну в поэме «Сон». Существует предположение, что Александре Федоровне удалось жестоко отомстить поэту, что именно по ее настоянию Шевченко был исключен из числа тех «государственных преступников», которых амнистировал Александр II по случаю своего «восшествия на престол». «Этого я не могу простить, — сказал царь о Шевченко, — потому что он оскорбил мою мать».

„О ЛЮДИ БЕДНЫЕ, СЛЕПЫЕ!..“

«Ведут к царице...» — то есть проститься с прахом царицы Александры Федоровны. О ней см. в предыдущем примечании.

„ОДНАЖДЫ НАД НЕВОЙ ИДУ...“

«Палаты над Невой» — дворцы царя и царских вельмож.

Доезжачий — крепостной слуга, обучавший гончих собак охотиться и ведавший барской псарней.

«То фонари горят возле апостольского храма...» — фонари возле ворот собора Петра и Павла, расположенного внутри Петропавловской крепости, на правом берегу Невы, против царского дворца. Собор служил усыпальницей императоров, а крепость около двух столетий была тюрьмой для «государственных преступников» — революционеров. Там в XVIII веке томился Радищев, в XIX — декабристы, петрашевцы и многие, многие другие.

Профессионалы
РСХМ СССР

Заводской ком. Т. 1
завода № 513

№ _____

4/3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

«А ну, начнем-ка вновь писать!...»	136
Батрачка	88
«В день пасхальный, на припёке...»	161
«Вишневый садик возле хаты...»	117
* «В неволе тяжко, — хоть и воли...»	117
* «В огороде возле брода...»	152
Гамалия	42
«Готово! Парус распустили...»	166
* «Добро, коль есть на свете хата...»	138
Доля («Ты не лукавила со мною...»)	174
«Думы мои, думы мои...»	36
* Еретик	58
«Запели мы... и, разлучась...»	168
«Зачем буду я жениться...»	156
«Зачем ты ходишь на могилу?...»	114
«И богата я...»	143
«И в самых радостных краях...»	158
* «Иль самому мне написать...»	161
«И рос я в дальней стороне...»	141
«И снова мне не привезла...»	153
«И сонные волны, и мутное небо...»	140
«И широкую долину...»	152
Кавказ	104
«Как на зореньке да ранёшенько...»	150
«Как умру — похороните...»	112
«Как у той у Катерины...»	146
«Когда б вы знали, господа...»	170
«Когда мы были казаками...»	122
* А. О. Козачковскому	130
Н. Костомарову	116
«Куковала кукушечка...»	144
Марку Вовчку	178
«Мне золотую, дорожую...»	163

«Мне, право, все равно...»	113
Молитвы	181
Муза	174
«Мы вместе некогда росли...»	164
«Не домой идя в полночь...»	154
N.N. («Тогда мне лег тринадцать было...»)	120
Невольник	69
«Не греет солнце на чужбине...»	121
«Не женися на богатой...»	56
«Не молилася за сына...»	169
«Однажды над Невой иду...»	185
«Ой, вскричали серы гуси...»	157
«Ой вы, думы мои, думы!...»	118
* «Ой, натоку товарища...»	144
«Ой, гляну я, погляжу я...»	136
«Ой, одна я, одна...»	112
«Ой ты, темная дуброва!...»	180
«Ой, чего ты почернело...»	148
«О люди бедные, слепые!...»	184
Перебендя	39
П[етру] С[коропадскому]	139
Платок	127
«Повсюду мрак — житья не стало!...»	182
Пророк	140
«Протоптала стёжечку...»	151
«Проходят дни, проходят ночи...»	109
«Ревет и стонет Днепр широкий...»	35
Сестре	180
Сова	48
* «Сойдемся ль мы, как прежде, снова?..»	118
* «Солнце заходит, горы темнеют...»	120
Сон («Она на барском поле жала...»)	177
«Считаю дни, считаю ночи...»	166
«Хотя лежачего не бьют...»	182
Чернец	124
М. С. Щепкину	55
«Я в орешничек ходила...»	148
* «Я только нынче так пишу...»	135
«Я — чтоб не сглазить — не хвораю...»	177

СОДЕРЖАНИЕ

Тарас Шевченко. — Вступительная статья Лидии Чуковской	Е
Стихотворения и поэмы	
«Ревет и стонет Днепр широкий...» — Перевод Исаковского	35
«Думы мои, думы мои...» — Перевод Твардовского	36
Перебендя. — Перевод Семынина	39
Гамалия. — Перевод Исаковского	42
Сова. — Перевод Твардовского	48
М. С. Щепкину. — Перевод Семынина	55
«Не женися на богатой...» — Перевод Инбер	56
* Еретик. — Перевод Карабана	58
Невольник. — Перевод Асеева	69
Батрачка. — Перевод Благиной	88
Кавказ. — Перевод Благиной	104
«Проходят дни, проходят ночи...» — Перевод Благиной	109
«Как умру — похороните...» — Перевод Твардовского	112
«Ой, одна я, одна...» — Перевод Благиной	—
«Мне, право, все равно...» — Перевод Звягинцевой	113
«Зачем ты ходишь на могилу?..» — Перевод Ушакова	114
Н. Костомарову. — Перевод Звягинцевой	116
«Вишневый садик возле хаты...» — Перевод Ушакова	117
* «В неволе тяжко, — хоть и воли...» — Перевод Семынина	—
* «Сойдемся ль мы, как прежде, снова?..» — Перевод Семынина	118
«Ой вы, думы мои, думы!..» — Перевод Семынина	—
* «Солнце заходит, горы темнеют...» — Перевод Семынина	120
N. N. («Тогда мне лет тринадцать было...») — Перевод Твардовского	—
«Не греет солнце на чужбине...» — Перевод Ушакова	121
«Когда мы были казаками...» — Перевод Брауна	122
Чернец. — Перевод Асеева	124
Платок. — Перевод Светлова	127
* А. О. Козачковскому. — Перевод Пастернака	130
* «Я только нынче так пишу...» — Перевод Семынина	135

«А ну, начнем-ка вновь писать!..» — <i>Перевод Звягинцевой</i>	136
«Ой, гляну я, погляжу я...» — <i>Перевод Благиной</i>	—
* «Добро, коль есть на свете хата...» — <i>Перевод Семынина</i>	138
Петру] С[коропадскому]. — <i>Перевод Звягинцевой</i>	139
Пророк. — <i>Перевод Семынина</i>	140
«И сонные волны, и мутное небо...» — <i>Перевод Ушакова</i>	—
«И рос я в дальней стороне...» — <i>Перевод Державина</i>	141
«И богата я...» — <i>Перевод Благиной</i>	143
* «Ой, натоку товарища...» — <i>Перевод Петникова</i>	144
«Куковала кукушечка...» — <i>Перевод Комиссаровой</i>	—
«Как у той у Катерины...» — <i>Перевод Твардовского</i>	146
«Ой, чего ты почернело...» — <i>Перевод Звягинцевой</i>	148
«Я в орешничек ходила...» — <i>Перевод Благиной</i>	—
«Как на зореньке да ранёшенько...» — <i>Перевод Благиной</i>	150
«Протоптала стёжечку...» — <i>Перевод Благиной</i>	151
«И широкую долину...» — <i>Перевод Брауна</i>	152
* «В огороде возле брода...» — <i>Перевод Петникова</i>	—
«И снова мне не привезла...» — <i>Перевод Брауна</i>	153
«Не домой идя в полночь...» — <i>Перевод Гербеля и Благиной</i>	154
«Зачем буду я жениться...» — <i>Перевод Брауна</i>	156
«Ой, вскричали серы гуси...» — <i>Перевод Семынина</i>	157
«И в самых радостных краях...» — <i>Перевод Твардовского</i>	158
«В день пасхальный, на припёке...» — <i>Перевод Семынина</i>	161
* «Иль самому мне написать...» — <i>Перевод Семынина</i>	—
«Мне золотую, дорогую...» — <i>Перевод Звягинцевой</i>	163
«Мы вместе некогда росли...» — <i>Перевод Благиной</i>	164
«Готово! Парус распустили...» — <i>Перевод Славинского</i>	166
«Считаю дни, считаю ночи...» — <i>Перевод Исаковского</i>	—
«Запели мы... и, разлучась...» — <i>Перевод Благиной</i>	168
«Не молилася за сына...» — <i>Перевод Светлова</i>	169
«Когда б вы знали, господа...» — <i>Перевод Колтановского</i>	170
Доля («Ты не лукавила со мною...»). — <i>Перевод Благиной</i>	174
Муза. — <i>Перевод Светлова</i>	—
Сон («Она на барском поле жала...»). — <i>Перевод Плещеева</i>	177
«Я — чтоб не сглазить — не хвораю...» — <i>Перевод Исаковского</i>	—
Марку Вовчку. — <i>Перевод Иванова</i>	178
Сестре. — <i>Перевод Благиной</i>	180
«Ой ты, темная дуброва!..» — <i>Перевод Звягинцевой</i>	—
Молитвы. — <i>Перевод Белоусова</i>	181
«Хотя лежачего не быют...» — <i>Перевод Суркова</i>	182
«Повсюду мрак — житья не стало!..» — <i>Перевод Звягинцевой</i>	—
«О люди бедные, слепые!..» — <i>Перевод Семынина</i>	184
«Однажды над Невой иду...» — <i>Перевод Брауна</i>	185
Примечания	186
Алфавитный указатель	200

2576.

Обложка Г. Египетова

Для семилетней и средней школы

Ответственный редактор *И. Воробьева.*
Художественный редактор *П. Суворов.*
Технический редактор *Р. Кравцова.*

Подписано к печати 6/V. 1946 г.
12^{3/4} п. л. (10,5 уч.-изд. л.). 34 272 зн. в
печ. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1032.
А00361. Цена 4 р. 50 к.

Фабрика детской книги Детгиза.
Москва, Суцевский вал, 49.



Цена 4 р. 50 к.

110